

# «КНЯЗЬ ЭЛИМ»

Статья prof. André Mazon (Париж)\*

Образ князя Элима Мещерского — «князя Элима», как называли его парижане в 30-х годах, — привлекает мое любопытство уже более двадцати лет, и, чтобы осветить его, я собирал все документы, какие мог достать.

Этот молодой писатель, умерший в Париже в 1844 г., в возрасте 36 лет, был в области художественной литературы, так же как в области официозной и славянофильской идеологии, одной из самых живых связей между своей родиной и романтической Францией Людовика-Филиппа. Его деятельность заслуживает всестороннего освещения, что я и предполагал сделать вначале. Однако, у меня нехватило на это времени, нехватает и теперь, и я уже потерял надежду когда-либо найти досуг для этой работы. Я счастлив поэтому представившейся мне возможности предложить на страницах «Литературного Наследства» вниманию историков литературы хотя бы помещаемые ниже заметки, далекие от того, чтобы претендовать на исчерпывающее освещение фигуры князя Элима. Впрочем, тексты документов, в них сообщаемые, при всей своей разрозненности, научают нас большому, нежели всегда несколько произвольный синтез монографии.

## НЕСКОЛЬКО ОТПРАВНЫХ ПУНКТОВ

Князь Элим Мещерский был единственным сыном Петра Сергеевича Мещерского (1779 г. — 31 июля 1856 г.) и Екатерины Ивановны Чернышевой (25 мая 1782 г. — 22 декабря 1851 г.)<sup>1</sup>.

Через своего отца он был близок к религиозному движению конца царствования Александра I и к среде одновременно аристократической и свободомыслящей в церковных вопросах.

Петр Сергеевич занимал различные высокие посты<sup>2</sup>. Он был, в частности, прокурором «святейшего синода» с 24 ноября 1817 г. по 2 апреля 1833 г., находясь сначала в подчинении министру духовных дел, который был в то же время министром народного просвещения (указ от 19 ноября 1817 г.), а потом, с мая 1824 г., в непосредственном подчинении царю, в роли, аналогичной роли министра исповеданий<sup>3</sup>. Как известно, это подчинение прокурора синода министру народного просвещения, а позднее царю, свидетельствовало, так же как и покровительство, оказываемое Библейскому обществу, о недоверии Александра к православному синоду.

---

\* Перевод с французской рукописи — П. Перцова под редакцией автора.  
Переводы стихов — М. Талова.

Петр Сергеевич был «уволен» от своих обязанностей прокурора в 1833 г. и назначен членом сената. Он председательствовал в Библейском обществе, где Александр Тургенев был секретарем. В 1823 г. он был помощником главного попечителя Человеколюбивого общества<sup>4</sup>. За высокопоставленным чиновником нам не видно, каков был человек, но мы угадываем мистика или, по крайней мере, набожного человека, уклончивого, с налетом ханжества. «Человек благочестивый и кроткий» — по определению архимандрита Фотия<sup>5</sup>; «тишь да гладь да божья благодать» — по другому свидетельству<sup>6</sup>. Этот «святой» человек, имевший, кстати сказать, в 1833 г. серьезный долговой процесс, не жил со своей женой; он женился вторым браком на Прасковье Егоровне Поповой, князь же Элим жил по преимуществу у своей матери.

Эта последняя была дочерью генерала (генерал-поручика) и сенатора Ивана Львовича Чернышева и сестрой князя Александра Ивановича Чернышева — генерала, отличившегося во французской кампании и ставшего военным министром, а позже председателем Государственного совета; она приходилась племянницей Ланскому, фавориту Екатерины. Именно ей было суждено направлять карьеру сына, поселиться подле него за границей и открыть в Париже литературный салон, самый блестящий из парижских салонов середины 30-х годов. Мы угадываем в ней женщину, способную отстаивать интересы князя Элима, нежно-деспотическую, любящую играть видную роль; такой, по крайней мере, рисуют ее нам непосредственные или литературно приукрашенные свидетельства современников.

Князь Элим родился в 1808 г. Он получил блестящее воспитание, дополненное пребыванием на Западе; Веймар и Франция сыграли тут главную роль<sup>7</sup>. Карьера его далась ему легко: это карьера дипломата-литератора, но более литератора, нежели дипломата. Он был определен в возрасте 15 лет в коллегии иностранных дел, потом последовательно причислен к миссиям в Дрездене (1828 — 1830), в Турине (1831 — 1833) и, наконец, к посольству в Париже (1833 — 1840); одновременно он состоял парижским корреспондентом русского министерства народного просвещения. Его произведения, за исключением нескольких русских стихотворений, как мы увидим, все написаны по-французски. Около 1840 г. он женился на Варваре Степановне Жихаревой, дочери сенатора С. П. Жихарева (1787 — 1860), одного из участников «А р з а м а с а», друга Чаадаева, оставившего нам любопытные мемуары, весьма поучительные для начала XIX века<sup>8</sup>. Варвара Степановна, родившаяся в 1819 г., молодая, красивая, привлекала к себе внимание московского общества своими успехами, а позже своими похождениями<sup>9</sup>. От этого брака родилась единственная дочь, Мария Элимовна, вышедшая впоследствии замуж за Павла Петровича Демидова, князя Сан-Донато. Князь Элим умер в Париже 2/14 ноября 1844 г.; он был похоронен в Царском селе, в церкви на Казанском кладбище<sup>10</sup>. Его вдова, несколько времени спустя, вышла вторично замуж за графа Борбон дель Монте.

#### ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ОДНОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ

Дипломатическая карьера князя Элима была только видимостью. Документы говорят здесь сами за себя:

## I

Июля 29 дня 1823 г.<sup>11</sup>

Его импер. величество высочайше повелеть соизволили князя Элима Мещерского, сына обер-прокурора святейшего правительствующего синода, кн. Мещерского, определить в ведомство госуд. коллегии иностранных дел актуариусом, с позволением продолжать науки.

Граф Нессельроде

Это повеление сопровождается заявлением князя Элима, удостоверяющим, что он не принадлежит и не будет принадлежать ни к какой мазонской ложе.

## II

Далее идет следующее письмо матери князя Элима:

Сего 19 марта 1825 г.

Государь!

Я начинаю с того, что призываю всю снисходительность вашего императорского величества к той смелости, с какой приступаю к моим мольбам. Материнская заботливость послужит мне извинением, а прекрасная душа вашего величества, к которой никогда не обращаются понапрасну, внушает мне мужество изложить мои пожелания с полнейшей искренностью.

Я посвятила все малые силы и средства, уделенные мне небом, воспитанию моего сына; все мое честолюбие заключалось единственно в мысли сделать его когда-нибудь достойным служить с честью своему государю и своему отечеству. Провидение, казалось, сжалилось надо мной, и мой сын, которому исполнилось семнадцать лет, только что выдержал все университетские экзамены самым удовлетворительным образом. Прискорбное состояние моего здоровья принуждает меня снова покинуть отечество на несколько лет; самое горячее желание моего сердца заключалось бы в том, чтобы согласовать эту тяжкую необходимость с тем попечением, которое одна только мать может иметь над моральной жизнью молодого человека в начале его карьеры. К вашей неисчерпаемой доброте, государь, решаюсь я обратиться с ходатайством об этой великой милости. Мой сын состоит актуариусом при коллегии иностранных дел; причислив его к миссии в Дрездене, с жалованьем, более чем необходимым в нашем положении, ваше величество очастливьте мать, которая живет только для своего ребенка и будет вечно благословлять августейшего виновника спасительного благодеяния.

Вынужденная уехать в первых числах марта, я осмеливаюсь умолять вас, государь, доверить милость, мною испрашиваемую, дав ваше решение ранее вашего отъезда.

Вручая в ваши руки, государь, драгоценнейшие интересы своей жизни, остаюсь с глубочайшим почтением

вашего императорского величества

всенижайшая верноподданная

Екатерина Мещерская

Прошение княгини было удовлетворено несколькими неделями позже, 23 апреля. Жалованье, назначенное новому атташе при дрезденской миссии, составляло 600 рублей в год<sup>12</sup>.

## III

Письмо от апреля 1825 г. (без обозначения числа), подписанное князем Элимом («Актуариус кн. Елим Мещерский»), служит препроводительной бумагой в министерство иностранных дел при университетском свидетельстве: «Получив из комитета Импер. Спб. университета аттестат в учинении мне испытаний в науках, имею честь представить оный при сем...».

Аттестат гласит:

«Князь Мещерский оказал следующие сведения. Российский язык знает по правилам грамматики и сочиняет на оном правильно; переводит с английского языка на российский удобно; в правах естественном, римском, частном, гражданском, с применением сего последнего к российским законам, и в российской истории имеет основательные; в уголовных законах средние; в государственной экономии хорошие; во всеобщей древней и новой истории и хронологии очень хорошие; во всеобщей географии хорошие, в российской географии очень хорошие; в российской статистике хорошие; в арифметике хорошие; в геометрии хорошие; в физике довольно хорошие познания; сверх того сочиняет на французском языке хорошо, на немецком языке очень хорошо и переводит с латинского языка на российский удобно... В засвидетельствование того дан ему кн. Мещерскому сей аттестат от Импер. Санкт-Петербургского университета 19 марта 1825 г.»<sup>13</sup>.

## IV

Приказ от 2 августа 1826 г. жалует князя Элима камер-юнкером. Об этом пожаловании хлопотали еще в предыдущем году, но получили отказ, присланный в письме А. Чернышева, помеченном Петергофом, 20 июля 1825 г.<sup>14</sup>.

В том же самом году постановлением от 27 июля князь Элим получил звание «переводчика коллегии иностранных дел»<sup>15</sup>.

В следующем году, по письму В. В. Ханыкова, ему было пожаловано право носить кавалерский крест Веймарского ордена Белого сокола. Старомодный придворно-канцелярский стиль этого письма достаточно обрисовывает среду, в которой вращался молодой человек.

Его сиятельству графу Нессельроде и пр.

Дрезден, сего 3/15 ноября [1827 г.]

Граф,

Его высочество великий герцог Веймарский соблаговолил пожаловать кавалерский крест ордена Белого сокола князю Мещерскому, камер-юнкеру, причисленному к императорской миссии в Дрездене. Его королевское высочество изъявили мне при этом, что ему было желательно сделать таким путем нечто приятное для матери князя. Княгиня Мещерская, пребывавшая в Веймаре в течение двух или трех лет, приобрела там благорасположение великогерцогского двора.

Князь Мещерский испрашивает разрешения императора, нашего августейшего повелителя, носить этот знак отличия, и я считаю своим долгом представить вашему сиятельству просьбу, обращенную им ко мне по этому делу.

Я позволяю себе в то же время воспользоваться этим случаем, чтобы засвидетельствовать перед вашим сиятельством прекрасные качества князя

Мещерского, который по своему служебному рвению и старанию с пользой применить все свои способности, а также по своим знаниям и своему осмотрительному поведению представляется мне заслуживающим быть рекомендованным вниманию вашего сиятельства.

Имею честь быть с чувством глубокого почтения,  
 граф, вашего сиятельства  
 всенижайшим и всепокорнейшим слугой  
 В. Ханыков<sup>16</sup>

## V

23 апреля 1829 г. князь Элим переводится в миссию в Турине при поверенном в делах, графе Строганове; его годовое содержание увеличивается на 200 рублей<sup>17</sup>.

27 июля он производится в титулярные советники<sup>18</sup>. В начале 1830 г., по письму графа Воронцова-Дашкова, помеченному Туринном, 27 января—8 февраля 1830 г. и адресованному министру иностранных дел, ему разрешено отправиться в Ниццу, ввиду состояния его здоровья<sup>19</sup>. В 1832 г. он получает четырехмесячный отпуск для поездки в Россию; отсутствует на службе с 9 апреля по 30 августа, а 30 августа оказывается причисленным к парижскому посольству, к Поццо ди Борго (формулярный список 1830 г., № 48 и № 118).

В департаментских архивах Ниццы не сохранилось иных сведений, кроме виз, последовательно данных князю Элиму французским консульством этого города: 5 октября 1830 г. (виза для Марселя); 6 ноября 1831 г. (виза для Экса, в Провансе); 17 августа 1841 г. (виза для Франции и Швейцарии).

## «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АТТАШЕ»

Князь Элим достиг теперь поворотного пункта своей карьеры. Роль дипломата интересовала его очень мало, и можно предполагать, что Поццо ди Борго, этот «великий интриган», как охарактеризовал его Николай I в одной из бесед с Барантом<sup>20</sup>, не очень-то ценил сотрудничество юного атташе, слишком утонченного, слишком склонного к поэзии и фантазерству, чтобы хорошо разбираться в политике. Министр народного просвещения Уваров выразил желание иметь в Париже корреспондента для своего ведомства; князь Элим только и мечтал, как бы уйти от дипломатических дел, а посол был вполне готов ему в этом содействовать. Граф Нессельроде, министр иностранных дел, уладил все наилучшим образом и, наверное, в полном согласии с пожеланиями княгини Мещерской: он оставил князя Элима при посольстве, разрешив ему в то же время стать корреспондентом министерства народного просвещения с особым содержанием. Таким образом, начиная с 1833 г., русское посольство в Париже приобрело «интеллектуального атташе» — первого, какого знали дипломатические канцелярии Европы.

## I

Князь Элим посылает следующее письмо Поццо ди Борго:

Париж, 14/26 апреля 1833 г.

Господин посол!

Я узнал, что господин Уваров просит ваше сиятельство указать ему корреспондента для министерства народного просвещения.

Занятия, которым я посвятил себя уже несколько лет, моя любовь к наукам и искусствам и личные связи с многими выдающимися европейскими учеными заставляют меня питать надежду, что я мог бы с некоторой пользой заниматься вышеуказанной корреспонденцией. Я беру на себя, вместе с тем, смелость признаться, господин граф, что я пришел к убеждению, что служба по народному просвещению, более отвечающая моим вкусам и моим привычкам, открывает мне больше возможностей проявлять с успехом мое рвение к служению его величеству и что я испытываю живейшее желание отдать слабую дань моих усилий этой отрасли, столь важной для благосостояния нашего отечества.

Я считаю поэтому своим долгом воспользоваться случаем, который представляет мне запрос, адресованный вашему сиятельству господином министром, и обращаюсь к вам с убедительнейшей просьбой о благосклонном вашем представительстве перед господином вице-канцлером и господином Уваровым, дабы его величество удостоили предоставить мне вышеуказанное поручение и одновременно перевести меня в ведомство министерства народного просвещения.

Поверьте, граф, что одно лишь ясно выраженное призвание к этому роду занятий способно заставить меня превозмочь сожаление, которое я испытываю, оставляя службу, отмеченную для меня в течение десяти лет добрым отношением моих начальников и приобретающую для меня особую ценность с тех пор, как я имею счастье находиться в распоряжении вашего сиятельства, благосклонность которого ко мне останется навсегда запечатленной в моем сердце. Я считал бы поэтому особою милостью, если бы мог, будучи переведен в ведомство министерства народного просвещения, продолжать входить в состав вверенного вашему попечению посольства, оставаясь в нем до тех пор, пока мое пребывание в Париже будет считаться нужным.

Вручая с доверием свою судьбу в ваши руки, господин посол, имею честь быть с глубочайшим почтением

вашего сиятельства

всенижайший и всепокорнейший слуга

Элим Мещерский

## II

Посол передает прошение князя Элима министру иностранных дел, сопровождая его следующим письмом:

Его сиятельству графу Нессельроде

Париж,  $\frac{28 \text{ апреля}}{10 \text{ мая}}$  1833 г.

Господин вице-канцлер!

Господин Уваров, министр народного просвещения, просил меня отношением от прошлого 22 марта указать ему надежного и деятельного корреспондента, который на условиях годового вознаграждения взялся бы держать его в курсе всего наиболее примечательного, что происходит в области наук и искусств, в частности, в курсе мер, принимаемых французским правительством в отношении учреждений народного просвещения.

Я уже намеревался заняться этим поручением, когда атташе моего посольства, камер-юнкер князь Мещерский, узнав о нем, выразил мне



ЭЛИМ МЕЩЕРСКИЙ

Портрет маслом неизвестного художника, 1830-е гг.  
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

свое пожелание взять на себя эту корреспонденцию. Он послал мне по этому случаю письмо, при сем прилагаемое, в котором он излагает мотивы, побуждающие его высказать желание быть переведенным в ведомство народного просвещения — на должность, к которой уже давно подготавливали его и его вкусы и его занятия. Это соображение, равно как и то, что он не сможет добросовестно исполнять одновременно двойные обязанности служащего канцелярии посольства и корреспондента министерства народного просвещения, вынуждают его ходатайствовать через мое посредство о благосклонном согласии вашего сиятельства на оставление князем Элимом Мещерским ведомства иностранных дел и о переведении его в ведомство народного просвещения. Живой интерес, который я питаю к князю Мещерскому в воздаяние всех его достойных уважения качеств, заставляет меня охотно идти навстречу его пожеланиям и поддерживать его просьбу перед вашим сиятельством и перед г. Уваровым. Я отдаю в то же время должное князю Мещерскому, что он ревностно и неизменно добросовестно старался исполнять обязанности, налагаемые на него должностью, которую он в течение шести месяцев занимал в моем посольстве.

Имею честь быть с глубочайшим почтением, господин вице-канцлер,  
вашего сиятельства всенижайшим и  
всепокорнейшим слугой  
Поццо ди Борго

### III

Граф Нессельроде, министр иностранных дел, депешей от 6 июня 1833 г., № 2317, извещает русского посла в Париже, что «князь Элим Мещерский, оставаясь атташе при парижском посольстве, имеет право посылать г-ну Уварову донесения о правительственных мерах, принятых во Франции в отношении учреждений народного просвещения. Руководящая инструкция для ведения корреспонденции будет прислана ему без замедления министерством народного просвещения».

### IV

Министр народного просвещения пытается воспользоваться этим решением, но наталкивается на сопротивление Николая I, который не видит никакой необходимости в том, чтобы иметь в Париже корреспондента по вопросам народного просвещения («не вижу в сем особой нужды»):

№ 47  
23 марта  
1834 г.

*О назначении титулярного советника князя Мещерского корреспондентом министерства народного просвещения с жалованьем по 2000 руб. в год из хозяйственных сумм департамента народного просвещения.*

В июле 1833 года, с согласия вице-канцлера и посла в Париже, графа Поццо ди Борго, поручил я состоящему при тамошнем посольстве, в звании камер-юнкера, титулярному советнику князю Мещерскому, для испытания, временно исправлять должность корреспондента министерства народного просвещения. В продолжение всего сего времени князь Мещерский оправдал мои ожидания, исполняя с усердием и успехом все делаемые ему поручения и доставляя министерству многие полезные сведения, из коих некоторые вошли в издаваемый журнал при департаменте народного просвещения.



Сверх того, находясь в постоянной с ним переписке, я не мог не заметить похвальных его познаний и правил, так что все сие заставляет меня всеподданнейше испрашивать высочайшего вашего императорского величества дозволения на утверждение князя Мещерского настоящим корреспондентом министерства народного просвещения, с назначением ему жалованья по 2 000 руб. в год из хозяйственных сумм департамента народного просвещения.

Сергий Уваров

Его императорского величества собственной рукою написано карандашом: «не вижу в сем особой нужды». 24 марта 1834 г. Уваров<sup>21</sup>.

## V

Письмо князя Элима министру народного просвещения от 1/13 октября 1834 г. показывает, что, тем временем, дело было все-таки улажено и что, очевидно, царь дал себя убедить:

Господин министр!

Париж, 1/13 октября 1834 г.

С чувством некоторого смущения и досады вижу я себя вынужденным занять драгоценное время вашего превосходительства беседой о моей особе. Мне тем труднее говорить о своих личных интересах, что я чувствую, как далек я от того, чтобы заслужить милость, какой вы удостоили почтить меня. Поэтому я взываю не к вашему чувству справедливости, а к вашей благосклонности, чтобы изложить вам те затруднительные обстоятельства, в которых я нахожусь; и те пожелания, которые осмеливаюсь иметь.

Я содержу в течение года на свои средства доверенного человека, которым пользуюсь для нахождения вновь появившихся книг, а также розыска тех лиц, в которых мне может встретиться надобность при моих занятиях; он служит мне, кроме того, переписчиком. Без помощи такого рода мне было бы невозможно исполнять сколько-нибудь прилично ту задачу, которую ваше превосходительство удостоили на меня возложить. Я плачу этому лицу сумму, соответствующую ста рублям в месяц.

Я должен добавить к этому расходу стоимость развозов по Парижу и канцелярские и почтовые издержки, неизбежно связанные с моей нынешней должностью. Их следует оценить, по меньшей мере, в триста рублей в год, что составляет в итоге 1 500 рублей в год, не считая многочисленных издержек другого рода, которые влекут за собой общественные связи, поддерживаемые мною в интересах службы его величества. Мое жалованье, составляющее 6 000 рублей ассигнациями, сокращается, таким образом, почти на треть.

Мне совестно занимать ваше превосходительство этими мелочами, но вам, может быть, неизвестно тяжелое имущественное положение моих родителей. Мое жалованье для меня не роскошь, а необходимость.

Денежная награда, которой ваше превосходительство удостоили пожаловать меня, покрыла в этом году дефицит в моем скромном бюджете, и если за последнее время результаты моей работы стали более значительными, то этим—должен признаться—я обязан увеличению моих ресурсов.

Итак, я позволяю себе просить ваше превосходительство соблаговолить возместить мне за время второго года моей деятельности те издержки, которые я осмелился выше исчислить.

Я вижу себя вынужденным—вопреки собственному желанию—к просьбе столь для меня тягостной, но я прошу ваше превосходительство принять

в соображение, что двое молодых людей, посланных в Париж министром финансов, — гг. Теплов и Шерер — получают каждый на тысячу рублей больше жалованья, нежели я...

Элим Мещерский

Нет надобности говорить, что князь Элим и на этой новой своей службе оставался в тесных сношениях со своим посольством и своим послом — сношениях одновременно политических и светских. Так, австрийский посол во Франции, граф д'Аппоньи, отметил в своем дневнике под 23 июля 1834 г.: «Граф Поццо и князь Голицын сделали нам в прошлый понедельник очень милый сюрприз. Ночью наш сад Бельвю, озеро, башня и хижина вдруг осветились. Заметив это одним из первых и прервав партию на биллиарде с леди Стюарт, я поспешил известить общество, собравшееся в салоне. Все побежали к дверям. У входа в одну из садовых беседок помещался оркестр Мюзара; графиня Поццо, м-ль Дельен, княгиня Голицына, г. Мейендорф, князь Мещерский и князь Голицын запели куплеты в честь посланницы, царицы Бельвю. Когда концерт кончился, красные и синие бенгальские огни озарили деревья, озеро, старую башню; потом поднялись снопы пламени и ракет...»<sup>22</sup>. Как ни втянулся в литературные круги новый корреспондент министерства народного просвещения, он принадлежал еще вполне миру дипломатов.

## VI

Однако, в конце лета 1836 г. князь Элим должен был покинуть Париж и прервать свою службу. Он указал или, вернее, ему посоветовали указать Бенкендорфу на Якова Николаевича Толстого, как на лицо наиболее способное его заменить <sup>23</sup>. Толстой, бывший штабс-капитан гвардии, до 1825 г. заигрывал с либеральным движением тайных обществ. В 30-х годах, стараясь загладить грехи юности, он поставил себе задачей патриотически сражаться с теми неразумными французами — Баур-Лормианом, Альфонсом Рабе, Ансло, Виктором Манье, герцогиней д'Абрантес, — которые осмеливались высказывать какие-либо критические суждения об императорской России. Что этот человек находился в связи с III отделением, не приходится сомневаться; самое вмешательство шефа жандармов Бенкендорфа уже говорит за это. Правительство Николая I отнюдь не интересовалось мечтательным и мистическим патриотизмом князя Элима: ему нужен был в Париже человек более чуткий к действительности, нежели к теориям, если не агент полиции, то уж, во всяком случае, политический наблюдатель, — и авантюристический темперамент Толстого давал в этом отношении полную гарантию<sup>24</sup>. Впрочем, князь Элим сохранял, повидимому, свое место, по крайней мере номинально, вплоть до 28 апреля 1840 г.<sup>25</sup>. Вот документы, освещающие этот период его карьеры:

№ 333

29 января 1837 г.

*Его в-пр-ву С. С. Уварову*

Милостивый государь,  
Сергей Семенович!

Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного гвардии штабс-капитана Якова Толстого назначить корреспондентом министерства народного просвещения в Париже, куда он вслед за сим должен отправиться.

О сей высочайшей воле я честь имею сообщить вашему превосходительству для вашего к исполнению по оной распоряжения, пребывая с совершенным почтением и преданностью

вашего превосходительства покорнейший слуга  
граф Бенкендорф<sup>26</sup>

№ 1472

24 ноября 1837 г.

*В департамент народного просвещения*

Канцелярия министерства народного просвещения, вследствие приказа его высокопревосходительства, покорнейше просит департамент народного просвещения о доставлении ей на счет хозяйственных сумм одного векселя в 700 фр. на имя корреспондента нашего министерства в Париже, отставного гвардии штабс-капитана Якова Толстого, для удовлетворения оными г. Лебланка за исполнение разных поручений, кои возлагаемы на него были надворным советником князем Елимом Мещерским во время исправления им должности корреспондента нашего министерства в Париже и за переписку в продолжение 4-х лет бумаг.

Директор Новосильский<sup>27</sup>

#### VII

Письмо графа Нессельроде к Уварову от 26 апреля 1840 г. сообщает ему повеление об отчислении князя Элима из ведомства народного просвещения и о назначении его снова, но совершенно номинально, к миссии в Турине:

№ 1221

Апреля 26 дня 1840 г.

*Его в-пр-ву С. С. Уварову*

Милостивый государь,  
Сергей Семенович!

Государь император высочайше повелеть соизволил: состоящего в ведомстве министерства иностранных дел и командированного к министерству народного просвещения надворного советника князя Элима Мещерского поместить к миссии нашей в Турине, с получаемым им жалованьем.

Сообщая о сей монаршей воле вашему высокопревосходительству для сведения, возобновляю вам, милостивый государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.

гр. Нессельроде

На документе рукою Уварова написано: «Исключить из ведомства м-ва нар. пр.»<sup>28</sup>.

№ 545

27 апреля 1840 г.

*Его сиятельству К. В. Нессельроде*

Милостивый государь,  
граф Карл Васильевич!

По сообщенному мне вашим сиятельством от 26 сего апреля высочайшему повелению о помещении надворного советника князя Мещерского к миссии в Турине, я сделал распоряжение о несчитании его более прикомандированным к министерству народного просвещения.

Сообщая о сем вам, милостивый государь, для сведения, возобновляю уверение в совершенном почтении и преданности.

гр. Уваров<sup>29</sup>

Князь Элим, вероятно, никогда не вступал в исполнение обязанностей по этой новой должности при туринской миссии. Более чем когда-либо его дипломатическая карьера была теперь только видимостью. Мы знаем, что он сохранил своим главным местопребыванием Париж до самого дня своей смерти—2/14 ноября 1844 г.

Виктор Балабин отмечает в своем дневнике под 20 ноября этого года: «Одни приходят, другие уходят; в числе последних—бедный Элим Мещерский, только-что умерший от водянки, которой разрешились все недуги, мучившие его уже столько лет»<sup>30</sup>.

Письмо Гоголя к Н. М. Языкову, датированное Гомбургом близ Франкфурта, 5 июня 1845 г., свидетельствует о воспоминании, которое оставил среди друзей князя его горестный конец: «Я худею теперь и истлеваю не по дням, а по часам; руки мои уже не согреваются вовсе и находятся в водянисто-опухлом состоянии. Припадки прочие все те же, которые сопровождали бедного Элима Мещерского (умершего тоже от изнурения сил) за неделю до его смерти. Вот тебе состояние моей болезни, которой не хочу от тебя скрывать»<sup>31</sup>.

Эмиль Дешан, Вилем Тенен, Анаис Сегала посвятили прекрасные статьи этому французскому поэту русского происхождения, который ушел, не достигнув полного расцвета своих сил<sup>32</sup>.

## ВСТРЕЧИ И ДРУЖБЫ

### I

В этой жизни, разделенной между двумя странами, сторона, обращенная к России, остается в тени. Каковы были годы юности князя? Кто были его ближайшие друзья среди соотечественников? В какие романтические интриги вовлекал его порывистый и впечатлительный характер? Все эти вопросы остаются без ответа. Случайные свидетельства позволяют нам догадываться о знакомствах, встречах, но нет ни следа какой-либо длительной дружбы. Александр Тургенев был знаком с княгиней Екатериной Ивановной; князь Элим не мог его не знать<sup>33</sup>. Именно князю Элиму, который, повидимому, был для него лишь случайным встречным, Чаадаев доверил рукопись одного из своих знаменитых писем, стоивших ему стольких неприятностей,—письмо (I) VI—«Первое»; имя корреспондента министерства народного просвещения, над которым тяготеет подозрение в болтливости или, по меньшей мере, в неосторожности, фигурирует в судебном следствии над обвиняемым в 1836 г.<sup>34</sup> Композитор М. И. Глинка в июне 1836 г. выражает свое удовольствие по поводу знакомства в Турине с молодым атташе русской миссии<sup>35</sup>. От Мещерского же получил и С. А. Соболевский, находившийся в это время в Турине, альманах «Северные Цветы», о котором он (Соболевский) высказывает самые суровые суждения, не щадя ни Баратынского, ни даже Пушкина<sup>36</sup>. Мы знаем, что Пушкин в 1831 г. послал князю Элиму экземпляр «Бориса Годунова» со своей надписью и что князь Элим, в свою очередь, подарил Пушкину свой экземпляр «Dernières Paroles» Антони Дешана, с дарственной надписью последнего; но мы не имеем никаких иных указаний на личные сношения поэтов<sup>37</sup>. Князь А. А. Шаховской, польщенный тем, что эпитафия к «Письмам русского» (Ницца, 1832) взят у него, посылает автору веле-речивое письмо<sup>38</sup>. Помощник редактора журнала министерства народного просвещения, А. А. Краевский, находится, само собой разумеется, в регу-

лярных письменных сношениях с корреспондентом министерства в Париже: князь вообразил на этом основании, что со стороны Краевского существует настоящая дружба; эта воображаемая дружба привела позже к большому разочарованию.

Варнгаген фон Энзе отмечает в своем дневнике под 18 июня 1836 г.:

«Был здесь недавно князь Мещерский, личность весьма известная в веймарском кружке, человек благородных чувств и высокого образования. Убедившись, что служебная карьера не представляет его деятельности завидной цели и что его умственные способности требуют существенной пищи, он решил посвятить себя интересам промышленным и другим общественным вопросам и учреждениям. Одним словом, истый сен-симонист, хотя, может быть, пренебрегает этим словом. Он сообщает свои проекты отчасти и непосредственно императору, который покровительствует ему»<sup>39</sup>.

Свидетельство, конечно, лестное, но в нем нужно видеть не более, как фантазию или пересказ чьих-то выдумок, и его одного было бы достаточно, чтобы доказать, что автор — совсем не знал того князя Элима, которого он представляет нам каким-то сен-симонистом, всецело поглощенным экономическими и социальными планами, к которым, якобы, прислушивается царь.

Археолог И. М. Снегирев принимает в августе 1836 г. в Москве князя Элима в сопровождении Леве-Веймара; он показывает гостям достопримечательности Кремля и Китай-города<sup>40</sup>. Историк Погодин, обязанный князю Элиму переводом на французский язык своей пресловутой вступительной лекции о «всемирной истории»<sup>41</sup>, находит своего переводчика



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ  
„БОРИСА ГОДУНОВА“ С ДАРСТВЕННОЙ  
НАДПИСЬЮ ПУШКИНА ЭЛИМУ  
МЕЩЕРСКОМУ

Литературный музей, Москва

в Париже в мае 1839 г. и отмечает в этот день: «Встретился [16 мая 1839 г. в Париже] с любезным князем Элимом Мещерским, в котором при европейском образовании много русского духа и который с успехом знакомит Европу с Россией»<sup>42</sup>. В сентябре 1844 г. композитор М. И. Глинка встречает снова, на этот раз в Париже, князя Элима, который переводит некоторые из его романсов. Глинка посещает Версаль в обществе кн. Элима и графа Виельгорского. Он направляется затем в Испанию, чтобы повидать Листа, и опять-таки князь Элим подготавливает ему поездку и помогает ему вступить в сношения с г-жей Суза<sup>43</sup>.

Естественнее всего искать русских друзей князя Элима в Париже. Здесь первоисточники его художественной и духовной жизни; здесь должны были происходить сближения на почве общих интересов и общих стремлений. Но нам нехватает материалов, и мы вынуждены ограничиться беглыми указаниями и часто даже только предположениями. Феофил Толстой вдохновил Элима на двенадцатый сонет «Бореалий»: «Когда наш бледный друг...». Элим, вероятно, был знаком со своим коллегой по дипломатической службе и собратом по поэзии — тем самым Ксаверием Ксавериевичем Лабенским, или «Иваном Полониусом» — атташе лондонского посольства, а потом секретарем Нессельроде, который занимает столь любопытное место среди малых романтиков 30-х годов<sup>44</sup>. Граф Григорий Шувалов — мы это знаем, благодаря виконту де-Мелёну, — усердно посещал салон княгини Мещерской, прежде чем перейти из положения поэта на положение члена ордена барнабитов<sup>45</sup>. Мы склонны предположить, что через него князь Элим мог войти, в свою очередь, в салоны С. П. Свечиной и А. С. де Сиркур. Мы нащупали бы здесь одну из связей, может быть, основную связь корреспондента русского министерства народного просвещения с маленькой группой русских, увлеченных католической мыслью, — но эта связь ускользает от нас. Во всяком случае, благодаря переписке Ботэна, мы узнаем, что общий порыв религиозных симпатий заставил князя Элима одновременно с Андреем Николаевичем Муравьевым, который был старше его возрастом, состоявшем при синоде, поддерживать письменно богословские собеседования со «страсбургским философом»<sup>46</sup>. Мы ничего не знаем о Сливицком, том любимом друге, которого князь Элим потерял в Париже в 1835 г., о чем он сам сообщает в одном из писем к А. А. Краевскому (см. ниже, стр. 471).

## II

С французской стороны несколько друзей выступают перед нами в полном свете. Самыми близкими были, без сомнения, Эмиль Дешан и Жюль де Сен-Феликс.

Общее увлечение Шекспиром сблизило князя Элима и буржуа-дилетанта Эмиля Дешана — сочинителя песен, поэта, критика, человека, обладавшего тонким вкусом. Консульство ума Дешана было открытым для иностранных влияний; по верному определению г. Анри Жирара, сравнившего его с г-жей де Сталь, это был «европейский ум с французской душой». Не было в салоне княгини Мещерской гостя, который посещал бы его с таким постоянством и которого слушали бы с таким вниманием. Ему именно князь Элим в 1838 г. и передал на рассмотрение рукопись «Бореалий»; ему поручил он напечатание этой книги и ему посвятил вступительное к ней стихотворение — то самое «Письмо к Эмилю Дешану», которое под видом восторженного признания в дружбе дает в действительности не что

иное, как патриотическое и религиозное исповедание веры автора<sup>47</sup>. Нет более очевидного свидетельства доверия князя Элима к этому другу, как письмо к нему от 6/18 января 1838 г.:

Петербург, 6/18 января 1838 г.

Дорогой Эмиль, вот мой труд. Бросаю вам тюк моих стихов, не зная, как он будет принят; но я так уверен в вашей любезности, так слепо верю я в вашу дружбу, что отвечаю за вас. И, наконец, если у вас нет возможности ни заняться этой публикацией, ни даже пересмотреть со вниманием мои рукописи, я знаю, что вы, во всяком случае, постараетесь найти кого-нибудь, кто окажет мне эту услугу, хотя, разумеется, никто не сможет вас заменить.

Итак, то, что я скажу здесь о материальных подробностях издания моей книги, предназначается для вас или для того лица, для того «*Dio ignoto*», которым я охотно буду обязан вам.

Хотя моя книга состоит из стихов, и хотя даже хорошая поэзия с трудом находит себе в настоящее время издателей, — я думаю, что буду счастливее многих других. Сумел же Жюльвекур напечатать свою «Балалайку»! Затем, мое имя, как ни мало значительно оно в литературе, уже известно в Париже, далее я — русский — о! — потом я князь — о! о! — наконец, дело идет о более чем тысяче стихов, переведенных из незнакомой поэзии, — а!.. все это вместе взятое должно возбудить любопытство и привлечь зевак. А главное, при французской любезности, при наличии стольких писателей, бывших моими друзьями, я не останусь без статей в журналах, а это обстоятельство весьма убедительное для издателя.

Я не претендую на продажу моей рукописи — я ее предоставляю безвозмездно тому, кто возьмется ее опубликовать. Но, дорогой друг, если вы найдете, что мой труд может рассчитывать на некоторый успех и, следовательно, можно будет поставить некоторые условия книгопродавцу, то вот мои условия.

Сен-Феликс должен вам, я знаю, небольшую сумму. Нельзя ли устроить так, чтобы этот долг был вам уплачен моей книгой? Это доставило бы мне большое удовольствие. Не говорите об этом ничего Сен-Феликсу. Затем я хотел бы получить в мое распоряжение 25 бесплатных экземпляров, не считая нескольких экземпляров для распространения во Франции; число последних будет невелико, так как большая часть экземпляров, предназначенная для распространения в Париже, вошла бы в непременною рассылку издателям ежемесячников и влиятельным журналистам, которые все или почти все мне знакомы.

Перейдем к типографским вопросам. Я хотел бы, чтобы том имел формат и шрифт «*Voix intérieures*» и такую же бумагу, если это возможно; чтобы, так же как там, на странице было по 18 или по 20 строк в тех случаях, когда нет промежутков между строфами или абзацев; и чтобы самые промежутки были такие же, как в книге Гюго. Нужно, чтобы корректор последил за тем, чтобы звездочки, поставленные переписчиком там и сям в моей рукописи для обозначения промежутков, не были воспроизведены при печатании. Промежутки следует отмечать просто пустыми местами. Пусть корректор оставит перед каждым новым стихотворением титульную страницу с номером произведения, как это сделано в моей рукописи. Что касается сонетов и терцин, он волен держаться распо-

ложения, принятого в рукописи, или же помещать на первой странице одно четверостишие или одну терцину, а остальное помещать на второй\*. Мне особенно хотелось бы, чтобы interpunktuacija с о б л ю д а л а с ь т щ а т е л ь н о и орфография собственных и других имен воспроизводила верно принятую мною. Обложка книги должна быть самого общеупотребительного цвета, с одним только титулом и без всяких т и п о г р а ф с к и х у к р а ш е н и й—самого отвратительного, что я только знаю после отвратительной книги. Все три рукописи должны составлять один том и следовать друг за другом в порядке, указанном в о г л а в л е н и и, помещенном в конце «Р у с с к и х э т ю д о в». Все это мелочи и весьма скучные, но что ж поделаешь! Весь этот избыток подробностей кажется мне необходимым.

— Бедный Эмиль! Как я вас жалею! Кстати, мне приходит в голову одна мысль: я начинаю бояться, а вдруг вы не получили письма, которое я вам послал с неделю тому назад? Там я говорил вам о моей работе по существу и сообщал об ее посылке; это письмо — только продолжение предыдущего.

Но я надеюсь, что русская почта не сыграла со мною такой скверной шутки, и продолжаю, как если бы был уверен, что это письмо до вас дошло.

Вы найдете, я думаю, что с технической стороны мои стихи достаточно обработаны; в первый раз в жизни я имел досуг отдаться серьезно моим версификаторским склонностям, и я надеюсь, что в дальнейшем добьюсь еще большего, если у меня хватит времени. Но как мучительно не иметь возможности вдохновляться беседами и пользоваться советами человека, преданного искусству!

Представьте себе, что моя книга возникла в одиночестве и среди полного молчания. Не у кого спросить совета или поощрения! У меня еще мало связей с нашими местными поэтами, и потом, хотя они говорят и понимают по-французски, — они не умеют ни чувствовать тонкостей поэтического языка, ни оценить особенностей французского искусства.

Вы увидите, однако, что, благодаря усердным занятиям, я, кажется, совершил не слишком много погрешностей против вашего прекрасного языка. Порой случалось, что я ошибался в счете слогов. Я употребил слово Chris-tia-nis-me, как если бы в нем было 4 слога, а не 5, и я сказал еще...

Князь Элим Мещерский<sup>48</sup>

Предисловие к «Бореалиям» является необходимым дополнением к этому письму. В нем князь Элим, скрывая свое авторство, приписывает его воображаемому, якобы, умершему поэту «Б. де Ж.», в котором, однако, не трудно разгадать самого князя Элима. «Нужно добавить, — читаем мы там, — что автор побывал в Париже, где многие знаменитости в области искусства и поэзии почтили его своей дружбой. Между ними он особенно сошелся с одним весьма известным поэтом, пользующимся всеобщей любовью как за свои прекрасные стихи, так и за то радушие, с которым он приветствует все, что могло бы походить на талант, и даже то, что на него не походит. Это человек в высшей степени доброжелательный, и притом без всякой банальности, ибо резкость при прекрасной душе и возвышенном уме называется добротой; человек весь — сердце, весь —

\* Эпиграфы должны быть помещены на отдельной странице — рядом с титульной страницей, как в моей рукописи.



порыв, весь — восторг, весь — крик одобрения: одним словом, г. Эмиль Дешан, и этим все сказано»<sup>49</sup>.

Жюль де Сен-Феликс принадлежал к старой провансальской семье. «Родившись в Лангедоке, он на этой римской земле привязался ко всему, что хранило след народа кесарей, и лучшие стихи, им написанные, были продиктованы ему любовью к латинской древности. Эмиль Дешан сравнивал его с Шенье. Италия была для него тем, чем Греция для автора «Идиллий». Она внушила ему «Nuits de Rome» и «Poésies romaines», роман «Cléopâtre» и поэму «Cynthia», которую он обработал для театра и тщетно старался поставить в Comédie Française. Легитимист в эпоху торжества

*M. de Saint-Félix*

*Antoni Deschamps*

DERNIÈRES

# PAROLES,

Poésies.

À Mon frère.

PARIS.

EBRARD LIBRAIRE. ÉDITEUR.

RUE DES MATHURINS ST. JACQUES, 24.

1855.

ЭКЗЕМПЛЯР „DERNIÈRES PAROLES“ АНТОНИ ДЕШАНА С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА ЭЛИМУ МЕЩЕРСКОМУ. БЫЛ ПОДАРЕН ПОСЛЕДНИМ ПУШКИНУ

Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

либеральной буржуазии, он объявил себя романтиком, когда это движение пошло на убыль. Как дипломат, он пережил крушение своей карьеры после июльской революции; как поэт, он был принесен в жертву Понсару и его ученикам»<sup>50</sup>.

Князь Элим восхищался им и заимствовал у него эпитафии для трех стихотворений в «Бореалиях»:

Часто с печалью и жалобой

Под своим крылом прикрытым

Это ангел позабытый.

(Эпитафия к VI стихотворению «Книги любви»; мы знаем, что эти стихи были внушены Сен-Феликсу графиней Шуваловой, женой графа Григория Шувалова).

Четыре прыжка, моя кобылица, и потом десять и еще тридцать...

(Эпиграф к XIV стихотворению «Кавалькада»).

Женщине и випере  
Должно жить в одной пещере.

(Эпиграф к XXII стихотворению «Две женщины»).

Этот дворянин в литературе, потерпевший неудачу во всех своих начинаниях, внушал князю Элиму не только восхищение, но и самую нежную дружбу и самую чуткую преданность. Мы видели в письме к Эмилю Дешану, как он старается осторожно устроить дело с долгом, о котором он случайно узнал<sup>51</sup>. Для княгини Екатерины Ивановны этот друг Элима сделался чем-то в роде приемного сына, и она женит его в Ницце на своей крестнице. Жюль де Сен-Феликс 15 августа 1840 г. радостно извещает об этом браке Дешана<sup>52</sup>. «И на расстоянии может быть верная дружба, а моя дружба, дорогой Эмиль, всегда следила за вами глазами и сердцем. Духовно я не покидал Парижа, по крайней мере, мне так кажется, и вы должны были встречать меня несколько раз—то в виде книги, то в отголосках воспоминаний. Сегодня я сообщу вам в письме, отправленном издалека, о важном и счастливом для меня событии. Вот уже несколько дней, как я женат, и женат на милой молодой особе, крестнице вашей почтенной княгини Мещерской, m-Ne д'Арну Дессольсе, дочери контр-адмирала, носящего это имя.

Вы, без сомнения, встречали в свое время у княгини милую девочку, которую звали Мальвиной. Она отлично вас помнит, так как вас никогда не забывают; она стала с тех пор молодой и весьма примечательной девушкой. Теперь она—моя жена... Наша свадьба состоялась в Ницце, у нашей доброй княгини, и была отпразднована восхитительно, может быть, даже с большим шумом, нежели бы я этого желал. Все лучшее здешнее общество приняло участие в этом торжестве.

Княгиню здесь все очень любят, мою дорогую Мальвину тоже. Ницца, по-моему, прелестное место, и как бы хотел я основать здесь небольшую колонию по моему выбору и вкусу. Как бы вас здесь любили и почитали, милый Эмиль. Ваши труды завоевали вам на этом прекрасном берегу симпатию тысяч людей, которых вы не знаете и с которыми вам было бы очень приятно встретиться в наших виллах и под нашими лимонными деревьями.

Семья Мещерской издавна к вам искренне расположена,—вы это знаете...

Я предполагаю появиться на три недели в Париже в октябре. У меня два денежных дела, которые нужно продвинуть; но так как мои сельскохозяйственные дела прежде всего требуют моего присутствия на юге, то я буду в Париже только в качестве путешественника. Князь Элим, хотя он все еще болеет, занят поэзией более, чем когда-либо. Он кончает сейчас работу, достойную князя поэтов. Он сам расскажет вам о ней, а вскоре все заговорят об этом...».

Другие французские друзья, близко связанные с князем Элимом, это—граф Жюль де Рессегье, один из самых преданных посетителей салона княгини Мещерской, у которого взят эпиграф к XXV стихотворению «Бореалий»<sup>53</sup>; граф Орас де Вьей-Кастель, о котором графиня Даш рассказывает, что однажды вечером он выступал, одетый монахом, в драме из трех действующих лиц, вместе с Сен-Феликсом и князем Элимом; Александр Гиро, доставивший эпиграф к VII стихотворению «Бореалий»;

Леон де Вайи и, наконец, Альфред де Виньи. В Публичной библиотеке в Ленинграде сохранилось следующее письмо де Виньи к князю Элиму, единственное уцелевшее из числа многих, о которых любезно сообщил мне в 1914 г. Элим Демидов Сан-Донато, внук князя Элима:

15 июля 1844 г.

Я все надеялся, милый князь, что вы приедете в Париж вслед за вашим предком Артамоном Матвеевым. Ему был оказан очень хороший прием у всех ваших друзей, верность которых в любви к вам равняется лишь лени отвечать вам на письма. Я со своей стороны сознаюсь, что разделяю одновременно и это чувство и эти угрызения совести. Сейчас я не могу более устоять перед желанием вам в этом признаться, узнав, что, вопреки нашим ожиданиям, вы не приедете.

Я прочел вашего Артамона и был живейшим образом тронут как самой посылкой, так и изяществом сопроводительных стихов. Вы любезны и добры: вы не забываете ваших первых французских симпатий, ваша мысль беспрестанно возвращается ко мне. То море приносит мне ее дуновение через посредство Жана де Клеранбо, моего родственника, мореплавателя; то земля, через посредство не менее дорогого для меня молодого друга, который находится подле вас в Виши. Я думаю, что ваше сердце и впрямь принадлежит немного нам и что природа сделала вас больше чем наполовину французом. Легкость вашего слога исключительна, и вы мастерски вывели на сцену боярина Матвеева и юродивого; но мне хотелось бы, чтобы вы не ограничились одной сценой, а чтобы у вас получилась целая композиция. Не создавайте себе только иллюзий о возможности заставить какую-либо французскую публику, даже узкий круг салонов, слушать имена, заимствованные из вашей истории, если их будет слишком много. Самому Тальме не удалось бы заставить выслушивать терпеливо и с серьезным видом такие слова, как Sviatoslaf, Iaroslaf, Monomakh, Mstislaf или названия местностей: Iakoutsk потом Iénisséisk, Nertchinsk на юге, Irkoutsk на севере. Не пытайтесь делать этого в более крупном произведении, поверьте мне. Ваша вещь, в сущности, монолог, прерываемый безумцем. Это удачный этюд, и я уверен, что вслед за ним последует целая драма. Но остерегайтесь слишком длинных политических и географических рассуждений; ими чрезмерно злоупотребляли со времени вашего отъезда.

Возвратит ли вам Виши здоровье в полной мере? Увижу ли я вас снова в моей хижине, в этой маленькой, столь скромной пристани Поэзии — первой, где вы бросили якорь во Франции?

Говорят, что госпожа Мещерская здесь, в Париже. Я не навещу ее, пока не буду представлен ей вами, называющим ее своей Элоа. Несомненно, Элоа — женский род от Элима. Я, вы знаете, никогда ее не видел, и мне стыдно в этом признаться после всех чудес, которые мне о ней рассказывают, — но я надеюсь увидеть ее скоро под руку с вами. В ожидании упивайтесь водами Виши. Желая, чтобы они обладали всеми целебными свойствами, кроме свойств летейских струй, в отношении самого молчаливого, но наименее непостоянного из ваших друзей.

Альфред де Виньи

Князь Элим посетил Виктора Гюго в 1839 г., но ему не удалось в дальнейшем поддержать отношения со своим излюбленным поэтом. Через год

он обратился к нему со следующим просительным письмом, составленным в хвалебных выражениях:

Ницца, 14 августа 1840 г.

Милостивый государь!

Прошло больше года с того дня, когда на мою долю выпало счастье беседовать с вами в вашем прекрасном салоне на Place Royale. Вполне понятно, что я говорю об этом свидании, как о событии, происшедшем как бы сегодня: великие воспоминания навсегда сохраняют свежесть настоящего; вполне естественно также, если вы не припоминаете ни этой встречи, ни даже, быть может, того, кто пишет вам эти строчки.

Дозвольте же мне напомнить вам некоторые частности нашего разговора—они связаны с тем, что побуждает меня сейчас взять на себя смелость писать вам.

Я говорил вам, между прочим, о плодотворном влиянии, оказываемом вами на русскую литературу, о вашей популярности в России и о высокой оценке ваших произведений критикой нашей страны—нужно сказать, более сведущей в поэзии, нежели критика французская. Ни один шедевр европейской литературы не чужд нашим критикам, и так как они изучают великих поэтов, то у них в силу этого шире возможности для сравнения, более возвышенная и более общая точка зрения, более изощренное поэтическое чувство «чем у тех, кто читает Буало».

Одно обстоятельство, которое покажется вам, вероятно, довольно любопытным, подтверждает мои слова. Я получил недавно стихотворение, написанное по-русски и озаглавленное: «Виктору Гюго, не избранному Французской академией». [Виктор Гюго был избран только 7 января 1841 г.—А. М.] Автор этих стихов—графиня Ростопчина, несколько стихотворений которой вы, может быть, прочли в переводе в моих «Bogéales». Она поручила мне перевести стихотворение на французский язык и вручить его вам.

Судите, милостивый государь, как я горд и восхищен тем, что на меня возложено такое поручение. Общественное мнение России, чтобы дать вам почувствовать свое негодование и удивление, прибегло к одной из наиболее красивых из существующих в мире форм выражения, выбрало для этого одну из самых красивых женщин петербургского общества и одного из лучших русских поэтов. Оно воздало вам этим лишь должное.

Да простят ему бессмертные то, что оно оказалось более французским, чем Французская академия, а вы простите мне плохие стихи, во внимание к добрым чувствам, которые питает к вам моя страна, и к тем очаровательным словам, так хорошо высказанным по-русски, которые обращает к вам наша вдохновенная поэтесса. Я посылаю вам также собственноручно написанный автором текст, с которого сделан мой перевод. Я полагаю, что госпожа Ростопчина и ваши многочисленные почитатели в России были бы очень приятно удивлены, если бы увидели эти стихи в «Journal des Débats».

А теперь, милостивый государь, злоупотребить вашим терпением хочет уже не исполнитель чужого поручения, а—увы!—весьма эгоистический проситель.

Как настоящий челобитчик, я подсовываю под страницы русской музы три перевода из поэтических произведений Державина, нашего великого лирика XVIII в., один перевод стихотворения Александра Пушкина

и один—нашего современного поэта Бенедиктова. Эти отрывки составляют часть моих «Chants de l'aurore» («Песен утренней зари») — труда, почти законченного и имеющего целью ознакомить Францию с главными русскими поэтами, начиная с Ломоносова, который (сто лет тому назад) был как бы Петром Великим для нашего языка и поэзии. Переводы—все стихотворные и составят два тома. Первый будет содержать написанное прозой обозрение истории русской поэзии и поэтов прошлого века; второй



ЭМИЛЬ ДЕШАНСЪ.

*Литография по миниатюре  
в Музее в. М. Мориньер*

ЭМИЛЬ ДЕШАН

Литография по миниатюре m-lle de la Мориньер

Национальная библиотека, Париж

целиком посвящен новейшим поэтам. Число переведенных авторов достигнет 50—55, а число стихотворений 70—80, в общей сложности около 6 000 неизданных стихов.

Как видите, милостивый государь, я принял всерьез те слова поощрения, с какими вам угодно было отозваться о моих первых поэтических попытках...

[Далее автор просит у Виктора Гюго рекомендации к издателю Даллою.—А. М.]

... Быть может, вам доставит некоторое удовольствие оказать в моем лице внимание русской публике, столь влюбленной в Виктора Гюго,

самого любимого своего французского поэта, и столь жаждущей представить Франции своих национальных поэтов.

В этой надежде я вновь приношу вам, милостивый государь, свои живейшие извинения и просьбы сообразоваться принять искреннее выражение восхищения и преданности, которые я сохранию к вам на всю жизнь.

Элим, князь Мещерский

На письме (бывшем в коллекции Барту) сохранилась сделанная рукой Виктора Гюго пометка «R[épondu]» — ответил. Однако, этот ответ Виктора Гюго остался нам неизвестным.

Свидетельства современников показывают нам еще нескольких привычных посетителей приемов княгини Екатерины Ивановны зимою на улице Ферм де Матюрен, в Париже, а летом на вилле, выходящей в парк Сен-Клу: Огюста Барбье, автора «Ямбов»; Анри Блаза де Бюри, переводчика «Фауста»; Теофиля де Феррьеера, саркастического наблюдателя эксцессов романтизма; барона де Мортемар-Буасс, автора идиллической статьи «La vieille Allemagne»; д'Арлинкура, автора «Solitaire»; графа Куршана, в действительности Козана, которому мы обязаны апокрифическими «Воспоминаниями» маркизы де Креки, и даже Эжена Сю<sup>54</sup>. По свидетельству А. М. Каратыгиной князь Элим привил Александру Дюма вкус к русскому табаку<sup>55</sup>.

## ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЛЕГЕНДА

### I

Благочестивый виконт де Мелён, который часто посещал эти приемы, хотя, может быть, менее охотно, нежели приемы у г-жи Свечиной, оставил нам о них забавные воспоминания, в которых просвечивает некоторая ирония<sup>56</sup>:

«Я часто встречал его [графа Шувалова] у одного из его земляков — князя Мещерского, где он читал свои стихи. Молодой князь, сам поэт, устраивал вечера для литераторов и некоторых друзей; они начинались в два часа ночи и проходили в чтении; по очереди каждый из допущенных в этот кружок поэтов становился скромно перед камином и начинал читать или декламировать стихи, качество которых не всегда было на высоте одушевления и блеска, с которыми они произносились.

Судьями автора являлись его сотоварищи по литературе и поэзии. Никак нельзя было обвинить их в зависти, так как они никогда не давали оратору времени окончить фразу. Подымались крики «ура», гул и трепет восторгов, так что казалось, вот-вот лопнут стекла, провалится пол. Я никогда не видел такого щедрого расточения энтузиазма. Особенно сонеты, сыпавшиеся градом, имели привилегию выводить собрание из равновесия, и я предвидел уже минуту, когда в порыве восторга оно должно будет переломать все стулья и начать кататься по земле. Правда, что, как только автор удалялся, наступало успокоение и присутствующие, отдыхая от восторгов, набрасывались на его произведения и старались выставить на вид его посредственность.

Здесь именно граф Шувалов прочел нам трагедию в пяти актах (название ее я забыл), и чтение часто прерывалось бешеными аплодисментами; пьесу нашли все же немного длинной, так как из-за нее мы пошли спать

уже среди бела дня; стихи же — их французский язык — были признаны достаточно хорошими для русского...

В общем же компания была хорошо подобрана, и в промежутках между чтением беседа была занимательной. Барбье читал здесь свои «Ямбы», и я припоминаю один разговор, прервавший овации поэтов и привлечший к себе под конец всех присутствовавших. Это Бальзак, со своей физиономией, напоминающей героев Рабле, с лукавым добродушием заспорил с Альфредом де Виньи; последний только что опубликовал «Чаттертона» — этот апофеоз непризнанного гения, кончающего с собой, чтобы не умереть с голоду.

Бальзак очень остроумно высмеивал и книгу и предисловие к ней; он утверждал, что всякий сколько-нибудь дельный человек прекрасно сумеет добиться справедливости и на этом свете и что те, кто умирали с голоду или кончали самоубийством, были просто бездарностями, которые, метя выше, чем позволяли их способности, становились жертвами вовсе не общественной несправедливости, а собственного высокомерия, — потому что хотели стать великими людьми, тогда как были сотворены, чтобы быть каменщиками или сапожниками. Виньи защищал, как мог, основную мысль своей трагедии, но ему трудно было назвать много непризнанных гениев, и в конце концов он сдался перед саркастическими стрелами своего страшного противника. На этот раз, когда кончился вечер, каждый нашел, несмотря на поздний час, что разошлись слишком рано...

Что касается Шувалова, то вскоре он приобрел известность и влияние иного свойства, чем слава поэта и положение вельможи. Допущенный в интимный круг г-жи Свечиной, он вскоре оставил поэзию и карьеру, чтобы примкнуть к католической церкви; потом, после потери жены и путешествия по Италии, он вернулся к нам барнабитом, со специальной миссией — работать над обращением России. Он восстановил этот орден во Франции, издал трогательную историю своего обращения и умер, оставив после себя репутацию святого».

## II

Графиня Даш, основываясь на своих впечатлениях и на воспоминаниях, которыми она обязана любезности Эмиля Дешана, описывает салон Мещерских с многословием, дающим нам не слишком много<sup>57</sup>, но она воспроизводит довольно удачно образ князя Элима<sup>58</sup>.

«Молодой человек, сопровождавший г. де Лапорта, был князь Элим Масальский\* — русский, причисленный к здешнему посольству для исполнения обязанностей по литературной части. Это был поэт, писавший на своем родном языке и на нашем, которым он владел в совершенстве, и в то же время это был аристократ до кончика ногтей. Его осанку и манеры нельзя было не отметить. Его лицо являло русский, почти казацкий тип, смягченный выражением кротости и неизъяснимой меланхолии; его русые волосы, его голубые глаза, его улыбка, равно исполненная тонкости и доброты, сообщали ему обаяние, покорявшее самых строптивых. Нельзя было видеть его, не пожелав узнать его ближе и, узнав, не полюбить».

Роста выше среднего, очень тонкий, он имел несколько болезненный вид; было ясно, что он не жилец на этом свете; это, быть может, прежде

\* Автор изменяет в «Масальского» фамилию Мещерского. — А. М.

всего и привлекало в нем. Его беседа была приятна и свободна от всякой претенциозности; нельзя было быть более простым и более естественным.

В его прекрасной душе было два недостатка: слабость и непостоянство. Впрочем, я делаю ошибку в этом определении: слабость была свойственна его душе, а непостоянство — характеру. Он был очень впечатлителен, особенно сильно действовали на него картины горя и несчастий; он создавал себе иллюзии о людях и видел их сквозь собственные совершенства. Он не верил в зло, поэтому он был жертвой и мучеником всю жизнь: его благородство погубило его. Его история печальна.

В то время он еще не дошел до этого и не думал, что когда-либо дойдет. Он радовался жизни, которая открывалась перед ним во всей своей красе. Не будучи очень богатым, он имел достаточные средства; его способности сулили ему прекрасное будущее, казавшееся еще более надежным, благодаря покровительству высокопоставленных лиц. Его мать была сестрой князя Чернышева, одного из любимцев императора Николая I — того самого Чернышева, который произвел такое сильное впечатление, когда впервые появился при дворе, и которого все женщины наперерыв оспаривали друг у друга.

Он мало занимался политикой, светские обязанности и научные занятия поглощали его время. Самый характер его службы сближал его с литературой: он должен был держать свой двор в курсе всего, что появлялось нового и примечательного; итак, у него было достаточно оснований сближаться с писателями и артистами, и прежде всего то, что с ними он в самом деле чувствовал себя в своей среде и что его вкусы влекли его к этим знакомствам».

### III

Этот привлекательный образ сохраняет еще сходство с действительностью. Но уже чувствуется, что он вполне готов для легенды. Князь Элим обладает всеми доблестями, необходимыми для героя романа. Действительно, уже в 1852 г., через каких-нибудь восемь лет после его смерти, некий молодой романист, Полен Нибуайе, служивший по консульской части и писавший только в часы досуга, преподнес французским читателям своего «Элима» — «Историю одного русского поэта», с предисловием графини Даш. Родившись в 1825 г., автор не мог знать князя лично, но ему достаточно было черпать из воспоминаний своей матери, Евгении Нибуайе, которой, по всей вероятности, одна книга ее молодости, «*Catherine II et ses filles d'honneur*» (Paris, 1817) открыла двери салона княгини Мещерской. Графиня Даш сделалась соучастницей этой романической выдумки, слегка перемешав в своем предисловии действительность и вымысел<sup>69</sup>.

«Я хорошо знала того, кто звался Элимом; поэтому, когда Полен Нибуайе напомнил мне об этой моей дружбе, то я почувствовала себя счастливой, что могу говорить, как хочу, о поэте, о благородном сердце, о мученике. Жизнь Элима, эта столь рано пресекавшаяся жизнь, вся целиком заключается в этих трех словах: любить, петь, страдать! У него были достоинства и недостатки, как личные, так и свойственные его касте; его достоинства были истинными добродетелями; его недостатки были лишь чуть заметными пятнами в душе столь прекрасной и столь чистой, что она отвернулась от этого мира и вознеслась на небо.



d'espérerais toujours, chez Grinice, que  
vous viendriez, à Paris peu après votre  
parents Artemon Matriciel. Il y a  
fait une fort bonne entrée par la porte  
de chacun de vos amis dans la fidélité  
à vos amies égale la parole à vous  
répondre. Je me déclare, pour ma part  
rempli à la foi de ce sentiment et de  
ce regard. Aujourd'hui je ne résiste  
plus au désir de vous le dire, en apprenant  
que vous ne devez pas arriver, comme  
vous l'espérez.

J'ai en votre Artemon et  
j'ai été traité vivement et de l'envie et  
des vus zélés qui l'annoncent.  
Vous êtes aimable et bon, vous

n'oubriez pas vos premières sympathies  
françaises, votre pensée revient à moi  
sans cesse, quelquefois la mer m'en  
apporte un soufle pas fort de  
clémence pour votre confin le  
navigateur, un autre jour de la  
terre par un jeune ami non moins  
chez qui est près de vous à Vityug. Je  
vois que votre cœur vous appartient  
même quelque peu et que la  
nature vous a fait plus qu'à d'autres  
français. Votre famille est extrême  
et vous avez mis en scène avec  
le bon Matreïeff et le bon dirige  
mais j'aimais vous que vous ne vous  
fussiez pas contenté d'une seule scène  
et qu'une composition entière vous en  
attache. ne vous faites pas illusion  
sur la possibilité de faire entendre à

un public quelconque de Français, fût-il  
venir à un salon, les noms de votre histoire  
d'its sont trop accumulés. L'Alle-  
mand même n'a pas réussi à faire  
écouter patiemment et sérieusement  
Sviatoslax, Sasoslax, monomakh, Iustislax  
et pour les bords:

La Koutsk  
pays Sémiphelst, Nertschinsk au sud au nord Iekoutsk.

ne le tenez pas dans un plus grand ouvrage  
voyez-moi. — Ceci est au fait un  
monologue ininterrompu par le feu d'un  
un homme ébrié et je suis sûr qu'elle  
vous amènera un drame indien. mais  
prenez garde aux trop longs divan-  
politiques et géographiques on en a  
beaucoup abusé depuis votre départ.

Pour vous verra-t-il toute la soirée  
que vous devriez avoir? vous aurai-je  
dans ma chambre, dans le petit port  
si humble de la poésie, le premier

où vous avez jeté l'ancre en France?  
on dir que Madame de Mestshinski  
est ici à Paris. Je m'en ai prouvée la riez  
dans lui être présente par vous qui la  
nommez votre gloire. Gloire devrait  
être le féminin d'Elim affirmativement.  
Je ne l'ai jamais vue, mais, vous, et  
j'en ai l'honte après toutes les merveilles  
qu'on me dit sur elle, mais j'espère  
la voir bientôt à votre bras. En  
attendant envirez-vous des courges de  
Nivins. Je souhaite que vous ayez  
toutes les vertus sans celles du Zéphir  
pour le plus silencieusement mais le moins  
inconstamment de vos amis

Alfred de Vigny

15. juillet 1844 -

Элим был аристократом в самом лучшем смысле этого слова; поэтому он обладал возвышенными идеями, утонченными манерами, непоколебимыми правилами поведения. Его происхождение и его положение, вполне естественно, обеспечивали ему то место, которое его исключительная натура завоевала бы ему, если бы он не получил его свыше. Наряду с благородством и гордостью, он имел сердце из числа тех избранных сердец, которые понимают и чувствуют несчастье других с бóльшей горячностью, нежели свои собственные; у него был верный, тонкий, критический ум и блестящее воображение, словом, все необходимое, чтобы быть очень несчастным и создать много неблагодарных. За ними дело не стало.

Одной из главных страстей в его жизни было патриотическое чувство. Элим любил Россию — свою «святую Русь», как он ее называл, — в тысячу раз больше, чем всех своих возлюбленных. Этот культ занимал в его сердце меньшее место, чем почитание бога, ибо Элим был глубоко религиозен, но бóльшее, чем все другие чувства. Он мечтал о великом будущем для этой необъятной страны, еще молодой и способной достигнуть всего, как она это и доказала с тех пор и как она это докажет еще гораздо более в будущем. Он хотел, чтобы она была великой, могущественной, прославленной, словом, первой в мире, и для достижения этой цели он не жалел ничего — ни жертв, ни самоотвержения, ни трудов... Сколько раз слышала я, как он развивал с восторгом во взорах и на устах свои планы и надежды! Как он был увлекателен в этих своих блистательных утопиях, какую непреодолимую симпатию внушал даже тем, чьи взгляды были весьма далеки от его взглядов!

Как поэт, он был талантлив; он был бы еще талантливее, если бы не жил в эпоху романтических причуд, которыми он злоупотреблял, как все юные и экзальтированные умы. Бурный наплыв мыслей выражался у него иногда в непривычных словах, нередко смелых и удачных. Тогда на это была мода: важнее было быть странным, причудливым, чем точным. Какие очаровательные стихи создал он наряду со своими эксцентрическими страницами! Меланхолия нисходит в сердце и овладевает всем вашим существом; читая эти строки, уже чувствуешь, что тот, кто так пишет, недолго будет жить. Этой душе слишком тесно здесь — ей нужны бесконечность, простор, вечность!..

В сердечной жизни этого молодого и обаятельного человека было много эпизодов; было бы затруднительно рассказать их все. Полен Нибуайе выбрал самый поэтический, самый подходящий для приключений романа, и он развернул свой рассказ со свойственным ему талантом: его книга полна наблюдений, тонких замечаний, сердечных порывов...».

#### IV

Уже при жизни князь Элим стал героем легенды. Так захотело то парижское общество, восхищение которого он сам насмешливо отметил: «Русский князь! — о! о!» (см. выше, стр. 387). Так захотели и хроникеры, ловящие всякие слухи. Несколько ироническое и недоброжелательное свидетельство об этом превращении мы находим в следующем эпизоде, описанном Морисом Сент-Аге (Шарлем Морисом) в его посредственном рассказе «*Sous les marronniers*»:

«Сигнал для начала вечеров был дан в этом году в октябре одним домом на шоссе д'Антэн, где бывали главным образом высший банковский мир, военная знать и дипломатический корпус. Среди представителей этого

последнего выделялся князь Иоахим Дартлей. Мы спешим предупредить, что это был русский князь, но настоящий, который не предлагал еще ни одной модистке и ни одной фигурантке своей руки, своего состояния и своих рабов. К тому же у него не было ни рабов, ни состояния, а должность, занимаемая им в посольстве, была ему предоставлена по особой милости императора, его господина, ставшего для него отцом, вследствие бедственного положения его семьи. Самая миссия, на него возложенная, была совершенно фиктивной и не имела никакого отношения к служебным делам: это была миссия литературная. Его поведение, его работа, даже его развлечения всецело находились под надзором царя, а князь был слишком русский, чтобы не считаться с этой властной необходимостью, одновременно господствовавшей и над его волей и над его стремлениями.

Он усвоил французский язык и французское произношение с гибкостью и легкостью, свойственной большинству молодых москвитов высшего класса. В этом, следовательно, не было большой заслуги; но что составляло его особенность,—это то, что он говорил и даже писал по-французски поистине очаровательно. Он снискал себе в салонах высокую репутацию. Он создал себе, я сказал бы, нечто вроде маленького царства, и все это столько же своей любезной беседой, сколько прелестными стихами, которые он декламировал иногда, по недавно установившемуся обычаю.

Добавим, что его наружность подготавливала как нельзя лучше к тому впечатлению, которое он производил. Стройный блондин, высокого роста, с небольшой головой, с голубыми живыми глазами, с привычной улыбкой на губах, с усами по последней моде, снисходительно-любезный, с узкими руками, с тонкими, по-юношески причесанными волосами, с нежными красками лица, одетый всегда с изысканной и мягкой небрежностью, он имел ту блеклую, но притягательную наружность, опустошенную, но поэтическую, высокомерную, но вкрадчивую, холодную, но учтивую,—то русское, словом, что так нравится—увы!—иным француженкам...

Около полуночи, после исполнения нескольких музыкальных пьес и прежде, чем начать танцы, стали просить князя-поэта прочесть свои стихи. Вспоминали его триумфы прошлой зимы; летом в деревне, под деревьями, много раз повторяли удержавшиеся в памяти отрывки его свежих стихов; теперь хотели услышать новые. Закрыли фортепиано; заперли игроков в гостиной, где они немилосердно жужжали, и так как элегия, выбранная заранее для этого вечера любезным князем, обращалась к молодым девушкам, то вышло, что все, кто претендовал на это звание, т. е. почти все женщины, поспешили собраться вокруг него...

Юный иностранец стоял, окруженный бальными диадемами, душистыми локонами, сияющими лицами, нежными плечами, воздушными платьями. Все это теснилось вокруг него; он возвышался над ними своей русской головой и покорял их стройными строфами. К нему были устремлены все эти нежные взгляды, все эти шаловливые мечты, все это задумчивое внимание, и он говорил им со своей высоты вполголоса, как брат сестрам, на языке Мальфилатра и Мильвуа...

Шарль отдался, уже без критики, непосредственному впечатлению, которое произвела на его поэтическую чувствительность эта картина..., кончил тем, что стал судить дружелюбно и снисходительно, хотя не без затаенной насмешки, об этом мечтателе, который так добросовестно по-

зировал для картинки, не желая, повидимому, упустить ни одного случая, чтобы обеспечить необходимый престиж...»<sup>60</sup>.

Впрочем, князь Элим является лишь эпизодической фигурой в рассказе, и другие замечания автора («у князя найдется рубль, чтобы выбросить бедному старому родственнику» и «ходит слух, что он может жениться на Лауре Веррье, дочери генерала Веррье») остаются без последствий. Шарль Морис дает нам здесь только пошлое эхо светских толков, где восхищение смешивается с завистью и недоброжелательством.

Не кто иной, как невинный «*Journal des Demoiselles*», в последний раз вызвал из забвения в 1906 г.<sup>61</sup> романтический силуэт князя Элима: «Их было трое: Виктор Массе, Эвелина Риббекур и князь Элим Меттчерский [sic!]: они сидели вокруг редакционного стола. Тогда еще никому неизвестный автор «Свадьбы Жаннетты» писал на рукописи что-то редактору журнала, бывшему в отсутствии; Эвелина Риббекур корректировала какую-то гранку, а князь Элим Меттчерский поджидал, без сомнения, Эвелину Риббекур, просматривая журнал. То было утром 11 июля 1848 г. [анахронизм не затрудняет автора: князь Элим к этому времени был уже четыре года в могиле.— А. М.]. В то время как Виктор Массе собирался уходить, оставив свою записку и какую-то вокальную пьесу секретарю редакции, в помещение вошел, не постучавшись, молодой человек с густыми курчавыми волосами, широкоплечий, с весьма вызывающим видом [это был Александр Дюма-сын.— А. М.] и, обращаясь к князю Меттчерскому, спросил: «Редактор «*Journal des Demoiselles*?». «Это не я»,— ответил князь и продолжал читать. «Редактор «*Journal des Demoiselles*?»— вновь спросил молодой человек, обращаясь к Виктору Массе. Музыкант не ответил. Он выходил, когда мадемуазель Анжелика Арно, славившаяся своей любознательностью, поклонница Рима и Помпеи, помещавшая в «*Journal des Demoiselles*» свои путевые заметки, неожиданно вошла в редакцию, восклицая: «Умер Шатобриан!» Князь, очень флегматичный по северной своей природе, сказал, подняв глаза: «Каждому свой черед». Взрыв сожалений, анекдотов, воспоминаний. Между тем, курчавый молодой человек экспромптом написал на брошенных Эвелиной Риббекур гранках статью о Шатобриане, и то была первая статья Александра Дюма-сына в „*Journal des Demoiselles*“»<sup>62</sup>.

Но пора для того, чтобы увидеть человека таким, каким он был в действительности, вернуться к документам, а самые надежные из них— все же те, которые принадлежат его перу: его сочинения и его переписка.

## РУССКИЙ ПОЭТ

Князь Элим писал, по преимуществу, на французском языке, очень гибком и часто блистательном, однако, не свободном от некоторых недостатков. Повидимому, русский язык был все же языком, который он знал лучше всего. Я старался разыскать в альманахах 30-х годов русские сочинения князя Элима, но мог приписать ему с полной уверенностью лишь ничтожное число стихотворений. А именно два или, самое большее, три.

### I

(«Новогодник». Собрание сочинений в прозе и в стихах современных русских писателей, изданный Н. Кукольниковом, СПб: 1839, стр. 93—95. К молодой девушке, подписано: Князь Э. Мещерский, 1832).

## К МОЛОДОЙ ДЕВУШКЕ

Нет, ты меня не понимаешь!  
 Клянусь, небесная моя,  
 Ты задрожешь, когда узнаешь,  
 Кто я таков, откуда я.

Не детям ведаться с грехами!  
 Не птичке разгадать змею!  
 Напрасно светлыми глазами  
 Ты смотришь на тоску мою!

Ты ангел кротости, смиренья,  
 Ты дух небесной чистоты,  
 Улыбка скромная творенья,  
 Заря надзвездной красоты.

Высоко ты паришь над нами  
 В лучах невинности твоей!  
 Ты с чистыми знакома снами,  
 Ты в храме, как в семье своей!

Я сын порока, обольщенья,  
 Я спутник не благих духов,  
 Я горд—и не ищу прощенья,  
 Я рад гореть в огне грехов!

И всюду я влачусь над бездной!  
 Из бездны я к тебе пристал,  
 Дабы навеки мир надзвездной  
 Одной душой беднее стал!

Но что ж? Ты милою рукою  
 Крестишь меня! Ты надо мной  
 Склонилась тихо головою,  
 Как лилия в полдневный зной!

Скажи, ужель мои объятья  
 Не облили тебя огнем?  
 Ужель мое клеймо проклятья  
 Не блещет на челе твоём?

О, боже, чудо совершалось—  
 Ты мне открыла рая дверь!  
 Дитя, ты ангелом осталась  
 И я—не демон уж теперь!

1832

Князь Э. Мещерский

## II

(«Утренняя Заря». Альманах на 1839 год, изданный В. Владиславлевым. СПб. 1839, типогр. Е. Фишера, стр. 67—69. Поэзия, подписано: Кн. Э. Мещерский).

## поэзия

Друзья! поэзии там нет, где ум щедушный  
 В пыли фольянтковой ползет, как червячок,  
 Где сердце робкое засядет в разум душный,  
 Чтоб вечно в нем корпеть, как под трубой сверчок.



Там нет поэзии, где на ходулях знанья  
 Природу меряют, ввинтя компас к пятам,  
 Где шарит божий мир ученый без призванья,  
 Иль, словно каменщик, мир ломит по кускам.

Там нет поэзии, где бьется гордый химик  
 В реторте выпуклой святыню разлагать,  
 Иль где седой мудрец, кривясь, как пошлый мимик,  
 Системою своей мнит богу подражать.

Где разум без души, где знанье без смиренья —  
 Там жизни нет, друзья, поэзии там нет!  
 Она душистый пар кипящего творенья,  
 Созвучие того, кто рек: «да будет свет».

Она из божьих уст прямое вдохновенье,  
 Сиянье вечности и благодати луч;  
 Она сынам земли земное откровенье.  
 Кто ею освещен, тот зорок, тот могуч;

Тот чуток на дела творца и сотворенных;  
 Тот чувством то найдет, на что рассудок туп;  
 Тот в веру верует и, став средь братий бранных,  
 Покажет душу им, где видится им труп!..

Лишь вдохновенному даны ключи созданья;  
 Лишь он вселенную прижмет к груди своей,  
 Разрубит все узлы мечем предугаданья,  
 И факел окунет в божественный елей.

Ему вручаются все скипетры, все царства.  
 Он к миру старому прицепит новый мир;  
 Он выточит себе народ и государства;  
 Он выправит язык под лад цевниц и лир.

И с ним беседуют небесные светила,  
 И тайны вечные ему лишь говорят,  
 И духи всех стихий пред ним кадят кадила...  
 Но он — его глаза пред образом горят.

Лишь вдохновением, друзья, мы постигаем  
 Все, чем мы дорожим, и все, что свято нам.  
 Любя, мы в нашу грудь поэзию влагаем;  
 А свет ее блесит земле и небесам.

Лишь вдохновением постигнется Россия,  
 Где вера с верностью под песнями росли,  
 Где уж давным-давно Георгий топчет змия,  
 И где мы господу полмира поднесли...

Кн. Э. Мещерский

Первое стихотворение («К молодой девушке») написано на банальную романтическую тему — о демоническом человеке, спасаемом ангельской кротостью молодой девушки, тему, которую кн. Элим повторяет еще раз по-французски — в IX стихотворении «Книги любви» в «Бореалиях»

(см. ниже, стр. 186); приемы здесь, как у Лермонтова в его ранних и слабых вещах, или, скорее, как у Бенедиктова.

Второе стихотворение («Поэзия») — более личного характера и отмечено подлинным пафосом: мы находим здесь патриотические и антиевропейские мотивы, повторенные в «Письме к Эмилю Дешану» в «Бореалиях» (см. ниже, стр. 444).

## III

Одно стихотворение вызывает сомнения — это то, которое мы находим в альманахе «Комета Бель». Альманах на 1833 г., типогр. Плюшара, стр. 366—367. П е с н я. Свидетельство Барсукова («Жизнь и труды Погодина», СПб. 1888—1907, том IV, стр. 25) неясно: в тексте стоит «кн. Мещерский», а оглавление уточняет: «кн. Э. П. Мещерский». Но принадлежность его князю Элиму правдоподобна.

## ПЕСНЯ

Одно облачко на синих небесах,  
Одна думушка в лазоревых глазах.  
Как за облачком не вижу солнца я,  
Мутен божий день сквозь слезы для меня.

Душно в тереме, дыханье заняло,  
Грустно на сердце, вздыхаю тяжело.  
Кабы облачко распалось грозой,  
Кабы думушка горючею слезой.

Кабы вольно мне заплакать молодой,  
Отереть глаза девичею фатой...  
Скрылось облачко в далекие края,  
За широкие, за синие моря.

В ту сторонушку, где солнышка восход...  
Кто же грусть-тоску разгонит, унесет?

Князь Мещерский

Неуместно было бы приводить здесь стихи, принадлежащие перу однофамильцев, как-то:

«Царское село». Альманах на 1830 г., изданный Н. Коншиным и Б. Розеном, СПб. 1830, типогр. Плюшара, стр. 309—310. В е с н а и о с е н ь, подписано: Князь Мещерский, Царское село, Лицей, 1828.

«Северные Цветы», 1832, стр. 149—150. С т а н ц ы, подписано: Кн. А. Мещерский.

«Одесский Альманах», 1839, стр. 256. З а т о ч е н и е, подписано: Кн. А. Мещерский.

«Молодик» (Украинский литературный сборник), 1843, I, стр. 181—183. Ж и з н ь и с м е р т ь п р и о д р е с т р а д а л ь ц а, подписано: Кн. П. Мещерский, Харьков, окт. 1841.

## ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЭТ

## I

Князь Элим был, по преимуществу, французским поэтом, и история французского романтизма с полным основанием предъявляет на него свои

права. Список его поэтических произведений краток: Керар установил его уже давно<sup>63</sup>, и мы можем дополнить его только в мелочах.

Его поэтическое творчество состоит в основном из трех сборников, из которых два—посмертные: «Les Boréales» («Бореалии»—«Северные стихи», 1839), с одной стороны, «Les roses noires» («Черные розы», 1845) и «Les poètes



ЖЮЛЬ РЕССЕГЬЕ

Литография из серии „Galerie de la Presse, de la Littérature et des Beaux-Arts“

russes» («Русские поэты», 1846)—с другой. Стихотворение на случай, посвященное «A LL. AA. Impériale et Royales M-me la Grande-Duchesse Marie et Messeigneurs le Grand-Duc et le Prince Héréditaire de Saxe-Weimar, à l'occasion de la naissance du Prince Charles-Auguste», заслуживает лишь простого упоминания<sup>64</sup>.

К этому нужно присоединить несколько стихотворений совсем иного качества, в том числе знаменательное «Послание к Альфреду де Мюссе», которое до сих пор оставалось незамеченным<sup>65</sup>.

## ПОСЛАНИЕ К АЛЬФРЕДУ ДЕ МЮССЕ

Из кубка твоего испил я вдохновенье;  
 Струей своих эфирных волн  
 Ты свыше вдохновенных посвященье  
 Мне пролил в грудь, и песен был я полн.  
 Воспламенил меня ты песнью пылкой лиры,  
 Жил под твоим я небом голубым,  
 И если пламенем однажды стану в мире,  
 То только приобщась огням твоим.

Элим, княгиня [!] Мещерская

Ницца, 11 ноября 1845 г. (королевство Сардиния)

Далее следует упомянуть о балладе, напоминающей Казимира Делавиня в его худших образцах: «*La jeune mère. Ballade*», появившейся в «*La France Littéraire*» (1836, I, стр. 481—883) и перепечатанной в «Сыне Отечества» (1838, т. 187).

К этому нужно прибавить, наконец, еще следующие три строфы, написанные для Pauline P. и Amélie R. («*du Pensionnat de Vendôme*»), напечатанные в «*Journal des jeunes personnes*» (т. II, 1834, стр. 224) и сохранившиеся на отдельном недатированном листке, находящемся у меня:

Вандомских старых стен, о ангелы, порхайте...  
 Касатки белые, ведите хоровод!  
 Но в озеро услад вы крыл не опускайте,  
 Скользите, не задев крылами глади вод.

Что наслаждение?.. Его коварна сладость.  
 Оно сродни пчеле, в чьем жале тайный яд.  
 Тебя приняв за цвет, о ветренная младость,  
 Оно тебя убьет... О, избегай услад...

Для ваших юных лет несносны наставленья.  
 Гляжу на вас, грустя: не всем пятнадцать лет,  
 Кому хотелось бы. Я потерпел крушенье;  
 Испытанный моряк лишь жесткий даст совет.

## II

«Бореалии» — единственный сборник, опубликованный еще при жизни поэта, и мы видели выше, какое участие Эмиль Дешан, по просьбе самого автора, принял в его опубликовании (см. выше, стр. 387). Оформление книги отвечает лучшей романтической традиции, а именно традиции «*Voix intérieures*» Гюго, как и хотел этого автор; типографское исполнение безукоризненно; бумага тонкая, но хорошего качества; титулы, эпиграфы и подзаголовки расположены стройно. Инструкции, данные князем Элимом его другу, были соблюдены точно. Мистификация в духе времени приписывает авторство большинства стихов умершему русскому поэту «*V. de G.*». Этому поэту, якобы, принадлежит первая часть книги: «Письмо к Эмилю Дешану» и «Книга любви» — это «завещание одного молодого человека, который чувствовал, как поэт, сочинял стихи, как это может делать каждый, и умер, как умирают все. Он ничего не опубликовал при жизни. Его биография похожа на биографии всех тех, кто жил для того,

чтобы любить, и, помимо этого, не представляет ничего замечательного... Автор, будучи русским по происхождению и русским душою, проникся горячей нежностью к французским стихам и к одной молодой девушке, своей соотечественнице...». Князь относит на свой счет только переводы русских поэтов, составляющие вторую часть сборника. Но это мнимое раздвоение, конечно, никого не могло ввести в заблуждение. Друзья князя знали, какое целомудренное чувство внушило ему мысль выпустить «Книгу любви» под эгидой своей жены — Варвары Жихаревой (V. de G. — инициалы ее имени во французском написании князя Элима: V a r b e d e G i k h a r e v a)<sup>66</sup>.

Редкая книга показывает так ясно, из какой среды она вышла и чей дух веял над ней. Автор ее — явным образом русский патриот, горящий желанием открыть Западу миссию своей страны, и в то же время он — французский поэт 30-х годов, испытавший на себе влияние Мюссе, Гюго и всей группы молодых поэтов, своих друзей. Некоторые места предисловия, где Россия изображается, как избранная земля, как мистическая страна, как «омега», призванная завершить собою «книгу человечества»<sup>67</sup>, напоминают нам тот манифест, которым явилось впоследствии предисловие де Вогюз к его «Русскому роману». «Письмо к Эмилю Дешану» представляет собою как бы диптих: на одной из створок автор пытается объяснить сущность России и «борется с густой тьмой западных предрассудков, которая в наши дни скрывает облик России»<sup>68</sup>, а на другой створке изложено литературное исповедание веры начинающего поэта, который дорожит духовным родством с целой плеядой французских современников. Мы встречаем здесь имена писателей и названия произведений, самых дорогих для князя Элима. Прежде всего — Альфреда де Мюссе, которого он воспевает, повторяя строки «La nuit de mai»:

Я б подражал Мюссе, но он неподражаем;  
Он, вольный, так глубок, так мощен мысль взлет,  
Что извращенный вкус едва ль его поймет.  
Он чересчур велик для формы, он глубок,  
Из раненой души мысль льется, как поток<sup>69</sup>.

Затем идет трогательный перечень поэтов, где Виньи и Сент-Бёв затеяны среди многих забытых ныне имен:

Я б ваши песни все заимствовал у вас...  
Немного быть, как вы,—желание понятно.  
Ведь дружбу я вожу с компанией приятной,  
Воспетой Рессегье<sup>70</sup>: меж ними видишь ты  
Элоа, чья слеза плодотворит цветы  
В садах Поэзии. Под сенью их прекрасной  
Жозеф Делорм пленял нас лирой сладкогласной.  
Там вижу братьев я: Лазара и Пьянто<sup>71</sup>,  
Великих мастеров; в руках их долото  
Крошит безжалостно причуды злого века;  
Они таврят клеймом пороки человека.  
Свой заунывный глас там Антони<sup>72</sup> обрел,  
Чье мрачное чело венчает ореол.  
М а р и я!<sup>73</sup> Ц и н т и я!<sup>74</sup> Весталка, вняв напеву,  
Венчает лаврами армориканку-деву.

И обе видели, как, затаив удар,  
 Под Шпагой и Плащом скрывался Бовуар<sup>75</sup>.  
 А дальше—юноши в сиянии экстаза—  
 Цветник, где в лилиях зрим царство сильфа Блаза<sup>76</sup>,  
 И, благочестия старинного жреца,  
 Меж ними Тюркети<sup>77</sup>, Бошен<sup>78</sup>, Гиро<sup>79</sup>— певцы.  
 То—небо горнее. Средь блещущих вершин  
 Сияют в нимбе там Суме и Ламартин,  
 И, наконец, Гюго, волшебник сей могучий  
 И сей Наполеон поэзии певучей.

Эпиграфы различных стихотворений «Книги любви» подтверждают это исповедание веры: князь Элим заимствует их большей частью у Мюссе (стихотворения I, V, IX, X, XIX, XXIX) и у Гюго (стихотворения XIII, XV, XVII, XXVII, XXX, XXXII), некоторые у ближайших друзей: Сен-Феликса (VI, XIV, XXII), Эмиля Дешана (XI), Жюля де Рессегье (XXV), Альфреда де Виньи (VIII), другие у молодых поэтов, которых он знал меньше: Огюста Барбье (XII), Антони Дешана (XXVIII), Шарля Довалля (XVI), Александра Гиро (XXVI), Ульриха Гуттингера (III), Жюля Лефевра (XXIV), остальные, наконец, у далеких учителей: Шенье (II), Шатобриана (XXIII), Ламартина (XXI) и Суме (XI), который оказался, таким образом, в хорошей компании.

Свидетельство самих произведений еще более ясно. Поэт отдается напевам, носящимся в воздухе, и его мечта, как он сам признавался Дешану: «немного быть, как вы». Его вдохновение нам не кажется ни очень глубоким, ни очень пламенным: его источник преимущественно — общие места, излюбленные его поколением, но оно искренно и выливается уверенно в модную форму. Оно выражается одновременно легко и гармонично, в рамках и в соответствии с литературными приемами времени. Поэт ловко играет антитезами, демоническими и серафическими клише — синтаксическими нововведениями, как-то — употребление отвлеченных понятий во множественном числе; его поэтические дерзания — вполне во вкусе салонов и всегда рискуют перейти в мадригал. Таково стихотворение IX, где тема демонизма, побеждаемого девической чистотой, трактована в духе многих поэтов одновременно и где мы находим в разбросанных, но искусно сочетающихся мазках отзвуки Ламартина, Виньи, Гюго — всей романтической лирики:

Возможно ли, чтоб я, распутный сын порока,  
 Душою светлую погрязший так глубоко  
 В нечистом омуте гнилых и злых страстей,

Возможно ли, чтоб я к тебе пришел, святая,  
 Ограду светлую твою переступая,  
 Где все ты радуешь сиянием очей;

Чтоб я, их не боясь, плененный чистотою,  
 Бок о бок пребывал с божественной красою,  
 Лобзаннями покрыв всю чистоту чела?

Как ледяной покров, твоя душа хранима  
 Крылами снежными святого серафима,  
 И чистотой своей меня ты привлекла.

Не потому ль, скажи, твоя любовь — горнило,  
И в сталь нечистый сплав оно перекалило,  
Из сердца вытравив все пятна навсегда!

Все обеляет снег, все выжжет пламень верный,  
А я, чтобы себя очистить мог от скверны,  
Прошел сквозь девственность и пламени и льда.

Таков и этот сонет, который автор с полным основанием снабжает эпиграфом из Гюго и который характером своим напоминает «Оды и баллады»:

O ma charmante!  
Ecoute ici  
L'amant qui chante  
Et pleure aussi.

Victor Hugo

Любви знакомы мне два рода.  
Одна — монах, и год от года  
Уходит, созерцая, в скит,  
Где тихо плачет и молчит.

Другая — отрок, чья природа  
Светла, ему чужда невзгода.  
Любовной дымкой взор повит,  
Лепечет он, ваш фаворит.

Так, подле вас, о дорогая,  
Как нежный отрок, вас лаская,  
Все беззаботно я пою.

Вдали ж от вас сродни я тени,  
Монах в тиши уединений;  
Так двубразно вас люблю.

Стихотворение X («I love you...»), вдохновенное Мюссе, и стихотворение XVII («Ecrit le dimanche des Rameaux»), самое заглавие которого достаточно обличает подражание Гюго, заканчиваются отрывистыми каденциями, не лишенными претенциозности.

Стихотворение XIII («Ce n'est pas une abeille à l'aile frémissante»), где поэт хотел «подражать» манере и оборотам русских народных песен, также перегружено романтическими украшениями.

В общем, князь Элим был тонким художником, дававшим перепевы своей школы. И если его поэзия не имеет подлинно-индивидуального характера, зато она хорошо доносит до нас эхо своей эпохи.

### III

Однако, этот поэт, который, желая быть самим собой, смог быть только эхом своего времени, обладал всеми данными, необходимыми для перевода поэтических произведений своей страны на чужой язык. Русским поэтам был нужен именно такой переводчик, как князь Элим, который мастерски владел бы одновременно двумя языками. Он сознавал высокую важность этой задачи, но знал и ее трудности, и никто не определил их удачнее, чем он сам в предисловии к «Бореалиям»<sup>80</sup>:

«Эти несовершенные переводы, — автор чувствует их несовершенство лучше, чем кто-либо, — эти робкие попытки составляют последнюю часть

книги. Он представляет их французским поэтам, как рудокоп-ученик приносит старшим рабочим незнакомый минерал. Их дело—решить, произведя испытание, обещает ли что-нибудь проба, стоит ли или нет эксплуатировать открытый рудник, и в особенности—не следует ли подождать прихода более опытного работника. Все же, если только будет дан сигнал, он примется за работу, продвигаясь в направлении жил, роя с увлечением, пробивая штольни. Он решается даже возвестить, что добыча будет богатейшей, если только его слишком тяжелая кирка, его плохо прилаженный молот не разобьют вдребезги алмазные или золотые сокровища, таящиеся в этой обильной почве. И более способные, нежели он, терпели неудачи, потому что работа эта трудна. Перевести—значит пересоздать; это значит—растопить прекрасное металлическое изделие, чтобы сделать его заново, согласно первоначальному образцу. Материал не меняется, но форма утрачена. Берется новая форма, иного устройства и сделанная чужой рукой; кидают в печь орла и извлекают оттуда вбрана. Еще счастлив тот, кто так понимает свою задачу. Ему иногда удается добиться успеха. Но что происходит с переводчиком, который упорствует в рабском воспроизведении образца? Перед ним поставлен живой человек, но он создает не портрет—произведение искусства, умелое отражение природы. Нет, конечно. Он гордо показывает вам восковую куклу. Все точно в этом человеческом облике—стан, черты, тело, окраска—все, вплоть до морщин, которые могут оказаться на лице; но то, чего недостает, это тоже все: это—жизнь».

Из этих мудрых наставлений, из этих советов, которые он давал самому себе, князь Элим сумел извлечь для себя пользу. Никогда русская поэзия не имела переводчика более тонкого, более уверенного, более живого: переводчика, улучшающего произведения посредственных поэтов, с которыми он хочет нас познакомить, как, например, стихи графини Ростопчиной, переводчика, каким-то чудом сумевшего передать по-французски божественную простоту Пушкина, не отягчая и не опошляя ее. Многие из его переводов—настоящие шедевры. Достаточно привести в качестве примера пушкинское «Прощание с калмычкой», от которого не отказался бы и Альфред де Мюссе:

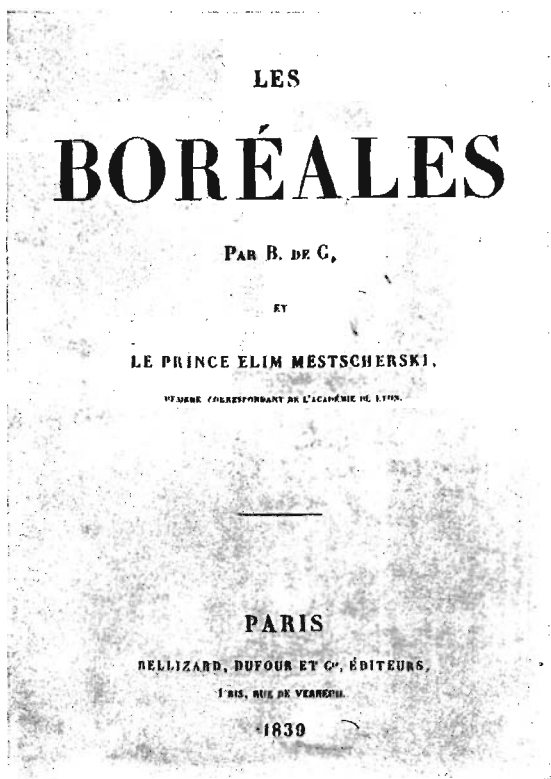
Adieu, cher cœur, jaune Kalmouque,  
 C'est à peine si je n'ai pas  
 Pris ta kibitka pour felouque  
 En m'élançant après tes pas  
 Sur les flots du steppe là-bas.  
 Bien que ton front soit sans mesure,  
 Tes yeux rétrécis à l'excès,  
 Ton nez plat, tes pieds sans chaussure,  
 Que tu ne parles point français,  
 Que Shakespeare ou bien Lamartine  
 Soient ignorés dans ton taudis,  
 Qu'on te serve un thé sans tartine,  
 Ce triomphe de nos ladys;  
 Bien que, pour sembler langoureuse,  
 Tu ne roules pas des yeux longs  
 Qui sortent d'une tête creuse,  
 Ni ne galopes aux salons...



Qu'importe! ta grâce sauvage  
 Eût fait éclater dix cerveaux;  
 Et moi, j'y fus pris au passage  
 Pendant un relais de chevaux.  
 Qu'importe où notre cœur se loge.  
 Dès qu'il s'émeut, tout coin lui sert,  
 Salon doré, soyeuse loge,  
 Ou la kibitka du désert.

Двадцать пять стихотворений, переведенных в «Бореалиях», принадлежат Пушкину, Жуковскому, Баратынскому, Кольцову, Бенедиктову, Козлову, Языкову, князю Вяземскому, графине Ростопчиной, Тимофееву. Автор намеренно выбирал только молодых поэтов, оставив в стороне поэтов, предшествовавших Жуковскому, — «всю эту планетную систему, солнцем которой был Державин»<sup>81</sup>. Он весьма поэтически извиняется за произвольность выбора и за несовершенство своих переводов:

«Эти этюды... только зарисовки на картоне, те куски холста, на которых художник пробует краски, рисует углем контуры, закрепляет эффекты тени и света. Прежде, чем приложить руку к большой картине с ее широкими горизонтами, с ее громадным небом, с ее воздушной и земной перспективой, ее водами, ее горами, ее деревьями, ее фигурами — к этому многообразному целому, где каждая часть — портрет, художник — силен он или слаб в своем мастерстве — чертит прежде всего карандашом профиль,



закрепляет форму облака, луч луны или солнца, кусок скалы, морскую волну, мерцание каскада, цветок, пучок травы<sup>82</sup>.

## IV

Второй сборник стихов князя Элима появился весной 1845 г., через какие-нибудь полгода после его смерти. «Черные розы» («Les roses noires» par le prince Elim Mestcherski. Paris, 1845, Librairie d'Amyot, éditeur). Ничто в заглавии не указывает на посмертный характер издания, но на обложке изображены гирлянды черных роз, придающие книге траурный вид, а письмо Виктора Гюго от 11 ноября 1844 г., напечатанное в приложении, приносит княгине Мещерской дань скорби, надгробный венок, сплетенный во вкусе эпохи:

«Увы, это был светлый талант на земле, в небесах он стал лучезарной душой. Провидение дало ему все, ему ни в чем не было отказано. Во всем он был достоин зависти и нежности; это была исключительная натура, и жребий его был исключительным. Бог нарушил, чтобы дать нам его, обычный порядок вещей; он нарушил этот порядок, чтобы отнять его у нас...».

Мы имеем все основания думать, что этот сборник был приготовлен к печати еще самим князем Элимом<sup>83</sup> и что княгиня только дополнила его «Последними стихами»<sup>84</sup>, а именно: «Сонетом к Эмилю Дешану по поводу его стихотворного перевода Макбета и Ромео и Джульетты» и «Размышлением, написанным князем Элимом Мещерским в ночь, предшествовавшую его последнему дню», — стихами, мощно иссеченными и твердыми, как мрамор гробницы:

Когда недуг и хворь охватят вдруг поэта,  
И жизнь в конце пути, лучами не согрета,  
Свое убежище, последний свой оплот  
Находит лишь в мозгу, который смерти ждет,  
Как побежденный царь в последней цитадели,  
Чьих верных воинов еще не одолели,—  
Тогда поэт следит, свидетель быв немой,  
Как разрушение вступает с жизнью в бой...

В «Черных розах» перед нами тот же поэт, что и в «Бореалиях», но они лучше показывают богатство его вдохновения и успехи его поэтической техники, в которой, по правде говоря, так мало индивидуального. Вступительное стихотворение, предназначенное для оправдания названия сборника, представляет собою вариации на тему, взятую из романтической символики, причем некоторые из мотивов достигают почти парнасской четкости формы:

Над миром, чьи томятся чада,  
Какой-то демон злой царит,  
Но бог, оплот наш и ограда,  
Мир сокровенный нам дарит.

В саду души, что зацветает,  
Живет по-разному народ.  
Иной поместье обретает,  
Иные — малый огород.

Моим уделом были розы,  
Гряды унылых, темных роз;  
Душа, ты проливала слезы,  
Ты их кропила влагой слез.

Скорбь, это—влага. В ней есть сила.  
Любовь—огонь. Огонь же ал.  
И розы влага оросила,  
А солнца луч их не ласкал...

Из двух частей, составляющих сборник (I—Драмы; II—Песни), первая, несомненно, более интересна. Мы находим здесь ряд драматических опытов, быть может, отголоски тех представлений, которые князь Элим устраивал в Ницце в основанном им частном театре<sup>85</sup>. Одни из них вполне самостоятельны: «Артамон Матвеев—картина в одной сцене», «Форнарина—картина в нескольких сценах»<sup>86</sup>; «Агония Лже-Дмитрия—картина-сцена»; «Скульптор—картина в одной сцене»; «Принцесса Мария Английская у прорицателя св. Павла—картина-сцена»; «Тасс в Ферраре—отрывок драматической поэмы»; «Отрывки из реванша поэта—комедия в трех актах, в стихах». Другие заимствованы из произведений русской литературы: «Цыгане—картина в нескольких сценах» (по Пушкину); «Светлана—картина в нескольких сценах, подражание балладе Жуковского». Третьи вдохновлены германской поэзией: «Фауст у колдуньи—картина в одной сцене»; «Камознс—драма в одном акте, в стихах; подражание немецкому». Все эти драматические сцены трактованы в романтическом духе: лирический элемент господствует здесь безраздельно, и влияние Гюго сказывается почти на каждой странице. Такова, например, эта исповедь Переца, героя «Камознса», которая может сойти за пародию какой-нибудь тирады из «Эрнани» или «Рюи Блаза»<sup>87</sup>:

Я годы детские, сдружившись с мечтой,  
Провел средь старых книг. Как бродит лишь слепой,  
Во-внутрь души своей невольно обращенный,  
Я по миру блуждал, и ночью озаренной  
Мне были дороги безлюдье и луна.  
В безмолвьи странные я слушал имена,  
Дневные ропоты не досягали слуха,  
И к торжищам мирским страх чувствовал я глухо—  
Чего-то жаждал я, а между тем не знал,  
К чему стремился сам. И вдруг как бы хорал  
Меня всего потряс!.. Стихи Луизиады!  
Когда их дивные я слушал серенады,  
Сияло все во мне, и душу залил свет,  
И расцвела душа моя, как златоцвет...  
О, следовать за ним бесстрашно и упорно!  
И в сердце раздалась как будто звуки горна,  
И я на зов летел. В ночи на огонек  
Так, ослепленный вмиг, порхает мотылек...

Вторая часть «Черных роз» (II. Песни) состоит из лирических произведений—песен, романсов, од и баллад. Мы узнаем здесь интонацию первых стихов Альфреда де Мюссе, и в особенности «Orientales» и «Odes et bal-

lades» Виктора Гюго, с усвоением тех ритмов, которые эти сборники пустили в оборот. Например:

Возьми гитару,  
 Опять мне спой!  
 Нет лучше дара,  
 Чем голос твой.  
 Под сенью древа,  
 Как ключ, о, дева!  
 Душа напева,  
 Журчит твой глас,  
 Обворожая,  
 И обольщая,  
 И поражая  
 До смерти нас.  
 Твой голос нежный  
 Летит, небрежный,  
 В эфир безбрежный —  
 Прелестный дух,  
 Крылом Зефира,  
 Голубкой мира,  
 Как чья-то лира,  
 Ласкает слух...

Мы не находим в этом сборнике ничего, что выходило бы за пределы общепринятых тем и общеизвестных аксесуаров: («Гондола», «Светляки», «Тарантелла», «Креолка Элина» и т. п.), и его ориентализм лишь слегка освежен красками Кавказа («Грузинка в греческом костюме»). Но одно произведение выделяется среди этих лишенных оригинальности декораций: это стихотворение, названное «Моя химера», которое является ни больше ни меньше, как одой к «святой Руси»<sup>88</sup>. Сделал ли это сам поэт или его издатель, но она, с полным основанием, помещена в конце сборника. Она как бы последнее его слово — если не самое сильное, то, во всяком случае, самое самостоятельное. Князь Элим обнаруживает здесь вдохновение и силу стиха, достойные Хомякова и Тютчева. Никогда Россия, понятая православным патриотом-славянофилом, как носительница и традиции и прогресса одновременно, не находила для себя на французском языке более великолепного изображения:

Господь — ее опора —  
 Дает ей благодать.  
 Она в сияньи взора  
 Пришла благословлять;

Мудра, всем возвращает  
 Народам мирный сон,  
 В них юный сок вливает  
 И дух былых времен.

Идет она, святая,  
 К народам, без помех,  
 В броню их облекая  
 Своих преданий всех.

M. de Ronfart. P.



РОНСАР

Рисунок неизвестного художника французской школы, 1560-е гг.

Эрмитаж, Ленинград



В очах ее искрится  
И теплится всегда  
То злых сердец зарница,  
То девственных звезда.

В ней, странной, духом правой,  
В ней свет сияний двух:  
Архангельская слава  
И голубиный дух.

В ней дышит изобилье.  
Златиста, как снопы.  
Ее орлины крылья,  
Гранитные стопы.

Огромная химера,  
Лев северных племен,  
В чьих лапах без примера  
Погиб Наполеон.

Как дуб широкошумный,  
С безмерной добротой,  
Она на мир безумный  
Мир проливает свой.

Под сень своей державы,  
Под теплое крыло  
Париж взяла кровавый,  
Поправ стопою зло.

И Францию спасая,  
Сирот утешив, вдов,  
С ней стерла всеблагая  
След вражеских зубов.

Собрав ее отрепья,  
Она в избытке сил  
Вновь гнезда велелепья  
Свила среди могил.

Ей слава, без сомненья,  
Что с песнью на устах  
Кантатой искупленья  
Кровь смысла черных плах.

Анафема Франции времен Революции и Империи, монархическое исповедание веры, «сredo» патриота - мистика, православный мессианизм—вся политическая и религиозная идеология князя Элима заключена в этом произведении. Предисловие к «Бореалиям», к которому мы еще вернемся, самый выбор для перевода, в числе других, стихотворения Хомякова «Остров» давали уже нам возможность вскрыть эту идеологию.

Alors une autre contrée,  
 Au cœur humble et plein de foi,  
 Surgira tout éclairée  
 Des rayons éteints sur toi.

Dieu la prendra pour son aire,  
 Il parlera par sa voix;  
 Puis, au bruit de son tonnerre,  
 Pâliront peuples et rois<sup>89</sup>.

Переписка князя Элима с А. А. Краевским объяснит нам в дальнейшем еще лучше все догматы этой веры.

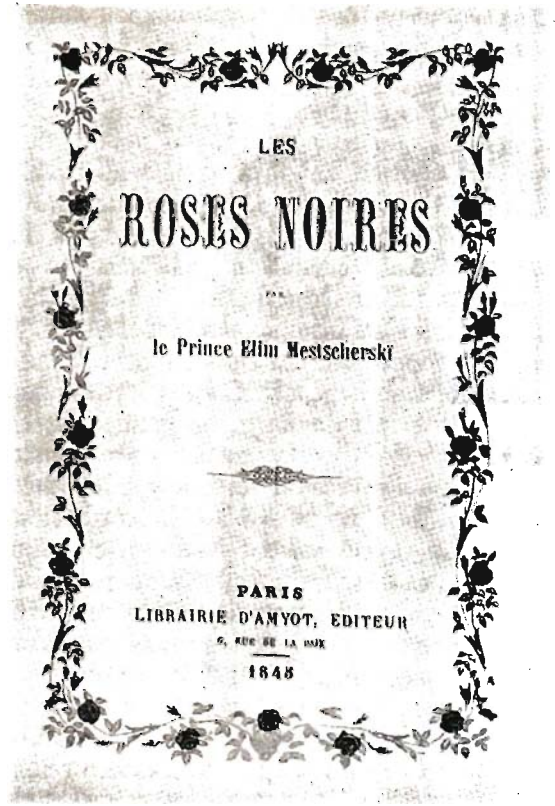
## V

Издательство Amyot опубликовало в 1846 г. последний сборник стихов князя Элима: «Les poètes russes traduits en vers français par le prince Elim Mestscherski», tomes I—II (imprimerie de H. Fournier et C<sup>ie</sup>, rue Saint Benoît, 7). Издатель сообщает нам, что ему принадлежит лишь техническая сторона издания: «Эти два тома были вполне подготовлены, переписаны и заботливо исправлены самим поэтом, когда смерть похитила его на тридцать седьмом году жизни»<sup>90</sup>. Но к собранию, приготовленному еще автором, издатель по собственной инициативе прибавил «поэтический венок» из нескольких стихотворений его друзей и речь «О русской литературе», произнесенную князем Элимом в марсельском Атенеэ 28 июня 1830 г.

Этот поэтический венок не представляет большого литературного интереса. Он состоит из стихотворений, написанных — одни еще при жизни князя Элима (Жюлем де Рессегье, 1839; Жюлем де Сен-Феликсом, 1842; Эмилем Дешаном, 1843), другие — по случаю его смерти (Адольфом Дюма, Альфредом де Мартонном, Александром Конаром, бароном де Мортемаром, Роже де Бовуаром, ноябрь 1844; Жюлем де Сен-Феликсом, январь 1845; Антони Дешаном, апрель 1846; поэтессой Анаис Сегалас, май 1846). Издатель объявлял также о стихотворении Виктора Гюго, которое, однако, насколько мне известно, никогда не появилось<sup>91</sup>.

Трактат «О русской литературе», напротив, заслуживает внимания, несмотря на то, что дело идет о юношеской работе и о сообщении, сделанном «по памяти» на тему, слишком обширную, чтобы быть исчерпанной в одном докладе. Это не что иное, как одна из первых попыток дать на французском языке полное обозрение истории русской литературы или, точнее, русской поэзии. Автор предполагал восполнить этим, в меру своих слабых сил, курс Ж.-Ж. Ампера, с которым он чувствует полное духовное согласие. «Моя работа продвинулась уже довольно далеко, когда я начал посещать литературные лекции г. Ампера — молодого профессора, который, благодаря высокому полету своих мыслей и глубине своих знаний, призван, видимо, когда-нибудь создать во Франции эпоху. Он излагал развитие северных литератур, начиная от средних веков вплоть до наших дней, стараясь проследить постепенную эволюцию тех элементов, которым мы обязаны рождением нового литературного жанра, господствующего в настоящее время в Англии, Германии, скандинавских странах и в России. Одна только русская литература оказалась за пределами научных исследований г. Ампера... Таким образом, работа, которую я предпринял, движимый всецело моими личными побуждениями и следуя моей личной точке зрения,

ОБЛОЖКА КНИГИ  
ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО  
„LES ROSES NOIRES“, 1845 г.



оказалась в некотором роде дополнением к серии картин, развернутой французским профессором. Нарисованная мною картина, принадлежа к той же школе, естественно, должна была гармонировать с его курсом,— но настолько, впрочем, насколько работа ученика может приближаться к работе мастера»<sup>92</sup>. Все это происходило летом 1830 г. Курс Ампера составил памятный момент в истории марсельского Атенея. «Тогда членам Атенея,— пишет Ф. Тамизье,— довелось услышать еще юную, но уже полную серьезности и очарования речь. Сын гениального ученого, знаменитого математика, начинал в этой скромной зале на улице de la Darse свою литературную карьеру, столь славно завершившуюся с той поры. Молодой ученый знакомил внимательную и восхищенную аудиторию с историей северной поэзии от Эдды до Шекспира. «La Revue de Provence» дала полное и обстоятельное изложение его курса...»<sup>93</sup>. Лекция князя Элима была воспроизведена в «Revue de Provence» (1830) и вызвала статью в «Séraphore de Marseille» (№ 787)<sup>94</sup>, но она не оставила никакого следа в истории Атенея<sup>95</sup>.

Между тем, эта лекция не заслуживала постигнутого ее забвения. Для нас она представляет тот интерес, что определяет позицию, занятую автором в литературных спорах его времени. Князь Элим осуждает без всякого снисхождения те «парики», которыми французское влияние украсило головы русских писателей XVIII в. «Классицизм, не говоря более ничего нашим чувствам, нашим симпатиям, всем стремлениям нашего духа, представляет собою только мумию, в которой мы почитаем прошлое. Позволим же литературе, позволим же ей сбросить классическую тогу,



столь тяжелую и чопорную, покррой которой сейчас столь же мало в моде, как высокие воротники, парики или красные каблуки. Пусть нынешняя литература присвоит себе легкие одежды романтизма, столь же богатые оттенками, как цвета радуги, столь же разнообразные по форме, как сама природа, наконец, достаточно просторные и достаточно гибкие в своих контурах, чтобы окутать изящными складками громадный гений Байрона и гений Гёте, великого, как мироздание». Но, приобщаясь духу современности, наш поэт все же заботится о том, как бы не утратить чувства меры: «Будем вводить новшества, так как для новых идей нужны новые формы, новые слова, чтобы выразить новые представления; но пусть эти нововведения ничем не оскорбляют хорошего вкуса и здравого смысла». Жуковский, которого он, без сомнения, особенно ценил еще и потому, что видел в нем образец перелазгателя и переводчика, имел в его глазах ту заслугу, что он «хорошо понял романтизм и, всегда мудрый и умеренный, не дал реформаторскому духу завлечь себя слишком далеко... Именно его пример предохранил русскую литературу от появления на свет романтических чудовищ, как мы видим это, к сожалению, в других странах»<sup>96</sup>. Итак, романтизм будет велик лишь постольку, поскольку он будет умерен и еще постольку он будет черпать из национальных источников. Так понимали его Жуковский и Пушкин. Оба они умели «обращаться к народным традициям, окрашенным живым, своеобразным колоритом чудесного..., заменить народными суевериями — этой, так сказать, домашней мифологией и обломком древней национальной мифологии — ту, которую породила религия греков и римлян... Первая поэма, которой Пушкин возвестил России пробуждение своего гения, была заимствована из старых русских преданий, украшенных всем обаянием волшебства и чародейства»<sup>97</sup>. Прислушиваясь к народному вдохновению, сможет поэт «найти свою область среди обширных владений человеческого духа» и таким путем прикоснуться к всемирности. «Национальное соперничество» должно «исчезнуть навсегда в мире наук и искусств». Новое поколение во Франции (выразителем его представлен Эмиль Дешан) признало, наконец, «что существует отечество, общее для всех народов, сокровища которого равно принадлежат всем: это отечество есть область человеческого духа»<sup>98</sup>.

Со своим смешением патриотической гордости и гуманизма, где, однако, патриотизм преобладает над гуманизмом, эта лекция представляет собою защитительную речь, которая сводится к следующим трем утверждениям: русская литература хочет быть самобытной; она уже самобытна; и, в ее теперешнем обликии, она уже достаточно значительна для того, чтобы цивилизованный мир оказал ей хороший прием.

Что касается мастерства нашего поэта, как переводчика и перелазгателя стихов, то оно находится вполне на высоте той задачи, которую он себе поставил, и в этом последнем сборнике столько удачных переводов, что выбор затруднителен. И здесь, как в «Бореалиях», когда дело идет о произведениях второстепенных авторов, оригинал зачастую оказывается превзойденным. Так, например, за перевод «Песни подмастерья-чеканщика»<sup>99</sup> барон Розен, по справедливости, обязан величайшей благодарностью князю Элиму; так же обстоит дело и с «Татарской песней» Теплякова<sup>100</sup>, которая в переводе кажется взятой из «Orientales» Гюго. Единственная ошибка поэта, доставляющая современным его читателям большое огорчение, — это та, что он выбрал много произведений с преходящим значением и уделил слишком мало места великим поэтам. Его первый том посвящен

писателям, которые, за исключением Карамзина, Жуковского и Батюшкова, не интересуют теперь никого, кроме историков литературы, и даже во втором томе Пушкин и Лермонтов<sup>101</sup> теряются в толпе милых, но эфемерных стихослагателей. Благоволение к Бенедиктову и Теплякову в этом смысле характерно. Краткие заметки, предшествующие переводам, незначительны и часто ошибочны, но есть все основания думать, что князь Элим не является их автором.

Выход в свет «Русских поэтов» оживил на некоторое время память о поэте<sup>102</sup>; во всяком случае, появление этой книги вызвало две превосходных заметки: Ипполита Бабу на французском языке и А. Башуцкого — на русском<sup>103</sup>.

## ПАТРИОТ И МИСТИК

Князь Элим был таким, каким его сделало его происхождение. Он верил в превосходство и в будущее своей страны. Он верил в Россию, и его патриотическая вера была верой монархиста и православного. Эта вера страдала всеми слабостями, которыми отяготила ее сентиментальная и остро-впечатлительная натура князя: она была подозрительна и обидчива, запальчива и почти вызывающа. Если бы не любознательный ум этого человека, его художественное чутье, его светскость, — она была бы нестерпимой. Именно на князя Элима частично падает ответственность за популяризацию среди французского общества того представления о «святой Руси», которому в ту же приблизительно эпоху книга Кюстина, а несколько позже книга Галле де Кюльтюра<sup>104</sup> нанесли такие тяжелые удары. Все же нужно признать за ним ту заслугу, что он старался придать этой цинически откровенной политической концепции, унаследованной им от своей среды, черты интеллектуального благородства, напоминающие нам теории славянофилов. Он пытался сообщить этой концепции историческую ценность и наполнить ее если не философским, то духовным содержанием.

Посмотрим же, что представляла собою его попытка и в какой мере она была оригинальна. Обратимся для этого к фактам и документам.

### I

Начиная с июня 1830 г., будучи еще атташе при миссии в Турине, князь Элим, по собственному почину, поставил себе задачей открыть русскую литературу французским читателям. Его лекция в марсельском Атене не преследовала иной цели.

Не удаляясь от этой цели, он, однако, умеет удержать свою патриотическую гордость в разумных границах: «Русские стали литераторами в столь же краткий промежуток времени, какой им понадобился, чтобы сделаться ремесленниками, купцами, дисциплинированными солдатами и матросами. Русская литература зародилась, выросла, созрела и расцвела, и на это понадобилось примерно столько же лет, сколько отводится на одну человеческую жизнь. Русский язык вполне отвечает той двойной тенденции, которая должна господствовать во всякой литературе, — я подразумеваю тенденцию национальную и тенденцию космополитическую, соединение которых необходимо для литературы нашего века. Поэты России имеют право на восторженное признание со стороны цивилизованного мира, как славные граждане той общей родины, о которой я го-

ворил в начале моей работы. Русская литература сравнялась во многих отношениях со своими старшими сестрами; она разделяла превратности их судьбы и ныне шествует вместе с ними к общему будущему»<sup>105</sup>.

Князь Элим приехал тогда из Германии — Германии дружественной, где он видел вокруг себя только доброе расположение и симпатию; он чистосердечно был верноподданным царя и в известной мере гражданином мира; мысль молодого Ампера, свободная и всему открытая, еще витала в той зале, куда пригласили для выступления князя Элима. И юный патриот, несомненно, приобщился, сам того не подозревая, к этому марсельскому либерализму, столь гибкому, столь благожелательному, который приветливо принял его в новом Атенее. Но его скоро ждали другие впечатления.

## II

Достаточно пробежать французские газеты и журналы 30-х годов, чтобы учесть те испытания, которым князь Элим должен был подвергаться, читая их.

Даже общество, в котором он, по преимуществу, вращался, — общество монархическое и, с его точки зрения, благомыслящее, — безжалостно наносило раны его патриотическому самолюбию. Еще во время пребывания при миссии в Турине, ему пришлось по собственному почину стать на защиту своей страны против невежества и заблуждений общественного мнения в журнале, идеология которого отнюдь не противоречила его взглядам. Это был журнал «Revue européenne, par les rédacteurs du Correspondant», где легитимисты занимали видное место.

Собственно говоря, князь Элим должен был найти в этом органе больше поводов для энтузиазма, чем для негодования: 1831 год принес ему изложение философской системы Бадера, прекрасное письмо Ламартина о рациональной политике, не менее прекрасное письмо Шатобриана, статью Бональда против развода и, наконец, диссертацию Луи де Карне о «социальной проблеме XIX века». В ней князь Элим имел удовольствие прочесть следующее заявление: «Не ищите ничего в тине вашей цивилизации, что могло бы сообщить нашему времени индивидуальные черты, — цивилизации нарумяненной, как куртизанка, нечистое бесплодие которой ничего не может породить. Как раз наоборот: именно против этой цивилизации и городов, являющихся ее центром, направлено великое движение эпохи»<sup>106</sup>. Но несколько фраз о русской литературе в литературном обозрении огорчили его, а статья о военном состоянии России, впрочем, переведенная с английского, вывела его из себя, — и вот он открывает огонь, в качестве воинствующего добровольца, за подписью: «Ваш русский подписчик» («Un Russe de vos abonnés»). Дело идет для него не больше и не меньше, как о защите русской культуры и вместе с нею «святой Руси». По приводимым отрывкам можно судить о том агрессивном пыле, с которым он выполняет эту задачу.

«Говорят, что русские подражают всему миру — французам, немцам, англичанам. Я не отрицаю, что до известной степени мания подражания составляет наш порок; это следствие того положения, которое заняла Россия в смене времен. Другие страны Европы были вынуждены извлекать культуру из родной почвы; в поте лица своего они взращивали ее плоды. Небо, которое всегда было благосклонно к России, избавило ее от этой необходимости. Ей стоило только протянуть руку, чтобы получить

готовые плоды. Я по природе весьма ленивый человек и почтительно благодарю тех, кто были столь любезны и доставали для нас каштаны из огня. Но теперь мы больше не станем их утруждать этим. Урожай последних лет в Европе были очень скудны, и я обещаю, что вам не придется больше упрекать нас в том, что мы снабжаемся у вас. У нас есть еще остатки того доброго зерна, что некогда пришло к нам из старой доброй Европы; оно превосходно принялось на нашей родине, и, если богу будет угодно, оно скоро будет давать нам настоящий русский урожай. И нам дела нет до этой молодой Европы, столь шумливой, столь заносчивой, которая, в цвете сил и здоровья, все же поит своих малюток в красных колпаках кровью, а не молоком. Так думают мои соотечественники — по крайней мере, все те, кто заслуживает имя русского.

Германия только что открыла в своих недрах рудник, который обогатит человечество на все времена. Она нашла золото науки, прошедшее сквозь горнило христианской веры, золото чистое и без примеси житейской мути, которое отныне заставит исчезнуть фальшивую монету философизма и языческой цивилизации. И Франция лучших времен (органом которой являетесь вы, милостивый государь, и ваши друзья) уже готовится черпать из этого источника. Россия также не замедлит им воспользоваться»<sup>107</sup>.

Заключение письма объединяет в одно славное, но туманное целое литературу, культуру и религию России: «Наша литература, столь юная годами, стара по своей славе... Христианской России, «христианнейшей» даже, хотя она и не признает папской власти, предназначено, может быть, подать знак для нового устремления человечества в область подлинно возвышенного. Религиозное чувство у нас мало искажено испорченностью века, и именно оно создало лучшие памятники русской поэзии. Ода Державина, озаглавленная «Бог», была переведена на все языки и даже на китайский...»<sup>108</sup>.

Спор производит еще более хаотическое впечатление, когда, в пылу возражений клеветникам русской армии, князь Элим притягивает христианскую философию Бадера и воспоминания о наполеоновском походе в Россию.

«Вы оскорбили научное целомудрие... Мы привыкли противопоставлять недобросовестности презрительное молчание... Доказательства, которые вам могут предъявить русские, носят, быть может, отпечаток патристического воодушевления, но мы никогда не испытывали нужды «подкрашивать действительность», чтобы представить нашу страну в благоприятном освещении. Да, я ссылаюсь здесь на Германию, столь ученую и столь неподкупную в своих суждениях, — на того Бадера, которого я чту столько же, сколько и вы, и я спрашиваю их, не боясь быть опровергнутым, достойна ли подобная статья фигурировать в журнале, которому они делают честь своим одобрением? Я зываю к вашей доблестной армии — к этим «старым усачам», которым довелось близко познакомиться с нашими русскими усачами, чьи боевые отличия способны возбудить зависть в «ворчунах» старой гвардии; я зываю к вашим генералам, понюхавшим русского пороху; я зываю, наконец, к этой гигантской тени, чей военный гений был оценен русскими не менее, чем французами, — и я спрашиваю их: думали ли они, что сражались с армией, солдаты которой не стоят турецких, и казалось ли им, что они отступают перед грабителями с большой дороги?»<sup>109</sup>.

Эти шумливые выступления встречали, без сомнения, благожелательный прием в кругах, близких автору, и в салонах высшей русской аристократии. Князь Элим имел слабость считать, что они обладают достаточными достоинствами, чтобы выпустить их небольшой книжкой, присоединив к ним еще несколько статей (всего шесть писем) в Ницце в 1832 г. под заглавием «Письма русского, адресованные гг. редакторам «Revue européenne, ci-devant Correspondant», снабдив ее эпиграфом из комедии «Пустодомы» А. А. Шаховского. Эта первая его книга — чрезвычайно незрелая. В ней полемика перекидывается с переводов Крылова Ипполитом Маскле на шедевры Пушкина и с польского вопроса и русской армии — на грандиозные неожиданности, которые Россия готовит Западу. Князь П. А. Вяземский судит об этой книге с насмешливой улыбкой; он подходит к ней, пожалуй, не столько, как критик, сколько, как ветеран 1812 года, задетый этим дворянином в литературе, для которого «ворчуньи» были лишь предлогом для образов и красивых фраз. Он пишет И. И. Дмитриеву от 19 июля 1832 г.<sup>110</sup>:

«Это письма молодого кн. Мещерского, сына синодального, и письма несколько синодские, а с другой стороны, много ребяческого жара и болтовни, много самохвальства, не только патриотического, которое извинительно и даже увлекательно, когда оно поддержано дарованием, но много самохвальства личного и вовсе неприличного. Признаюсь, излишний патриотизм и в самом эпиграфе. Выходя на бой с Европою, смешно взять Шаховского герольдом своим, смешно иметь союзником себе и М. Masclet. С ним далеко не уйдешь и никого не испугаешь. Впрочем, всю книгу можно прочесть с любопытством и с желанием автору более зрелости в мыслях, ибо благонамеренность одна в подобных случаях недостаточна.

Дмитриев отнесся менее сурово к «Письмам русского».

«Люблю, когда наш вступает за наших: сыны новой Франции столько же недоброхотны и еще более невежды, как и их деды, когда им доводится говорить о России, несмотря на то, что и прежде и ныне они копышутся в ней, как домашние»<sup>111</sup>.

А. А. Шаховской, в запутанном и велеречивом письме к князю Элиму, выразил «Письмам русского» свое полное одобрение<sup>112</sup>. Русские патриоты были в волнении.

Статья о Веймаре, появившаяся в сборнике «Allemagne et Pays-Bas»<sup>113</sup>, может стать рядом с «Письмами русского», поскольку она отражает приверженность князя Элима к консервативной Германии — той «старой Германии», преданной традициям и чистой сердцем, которую хвалит в том же сборнике барон де Мортемар, и противопоставляет ее революционной Франции, от которой Россия должна отвернуться. Восхваление Гёте — «этого верховного первосвященника духовной аристократии» — становится здесь восхвалением дисциплины: «Его враги, — пишет князь, — обвиняют его в том, что он угождал, как придворный; это грубая ошибка: Гёте подавал высокий пример уважения к общественному порядку». Даже похвала Ж.-Ж. Амперу относится косвенно к Германии: «Ж.-Ж. Ампер — апостол северных литератур и более всех немец между французами». Хвала Германии сливается, наконец, с хвалой духовному и общественному прогрессу:

«Скипетр разума перешел от Франции к Германии. Источником научного и литературного потока, внезапно разлившегося по цивилизованному миру, был Веймар, а бассейном, его укрывавшим, герцогский двор.

В то время как на левом берегу Рейна стремились к всеобщей нивелировке, на правой устремлялись ввысь. Что бы ни говорили, а разум — естественный враг равенства, уже по одному тому, что он всегда взлетает, а не опускается, всегда возносится, а не расплывается; это — пирамида, которая, как бы ни было широко ее основание, постепенно суживается и кончается точкой. Что бы там ни говорили, двор уже тем самым, что он объединяет все социально выдающееся, представляет собою центр притяжения для избранников мысли. Ласточкам нужно гнездо, расположенное на верхушке зданий».

Но князь Элим знает, что будущее его страны — в хороших руках: «Г-н Уваров..., который был другом Гёте..., готовит мыслящую Россию к возвышенной доле...».

## III

Совершенно очевидно, что наш молодой дипломат предпочитает международным переговорам наблюдение за духовной жизнью Европы и прямое вмешательство в нее пером или словом. Задача, которой он себя посвятил, выступает все яснее и яснее: он все больше и больше сближается с французским обществом, особенно с обществом литераторов, в котором он, как поэт, скоро приобретает друзей, и все настойчивее старается дать французам правильное, с его точки зрения, представление о России.

В 1830 г. он сам принимает меры, чтобы прочесть лекцию в марсельском Атенее; к 1831 г. относится его письмо в «Revue européenne», а в 1832 г. он опубликовывает в Ницце «Письма русского». В том же 1832 г. он ста-

DE LA  
LITTÉRATURE RUSSE.

## DISCOURS

PRONONCÉ

## A L'ATHÉNÉE DE MARSEILLE,

*Dans la Séance du 26 Juin 1830;*

PAR

LE PRINCE ELIM MESTCHERSKY,

GENTILHOMME DE LA CHAMBRE DE S. M. L'EMPEREUR DE TOUTES LES  
RUSSIES, ATTACHÉ A SA LÉGATION PRÈS S. M. LE ROI DE SARDAIGNE,  
CHEVALIER DE L'ORDRE DU FAUCON-BLANC.

MARSEILLE,

TYPOGRAPHIE DE FEISSAT AÎNÉ ET DEMONCHY,  
RUE CARABIERE, N° 19.

JULLET 1830.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ  
ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО  
„DE LA LITTÉRATURE RUSSE, DISCOURS  
PRONONCÉ A L'ATHÉNÉE DE MARSEILLE“,  
1830 г.

новится, по собственной просьбе, членом-корреспондентом Лионской академии. Протоколы заседаний академии сохранили следы этого мирного завоевания:

Заседание 29 мая 1832 г.: «...Г-н Мартен младший<sup>114</sup> представляет академии брошюру, озаглавленную «De la littérature russe, discours prononcé à l'Athénée de Marseille (Marseille, 1830, in 8°), князя Элима Мещерского. Наш коллега сообщает, что автор этой речи, молодой человек 22 лет, просит о чести быть внесенным в список членов-корреспондентов. Гг. Перико, Девилья и Булле избраны уполномоченными для рассмотрения прав нового кандидата...».

Заседание 28 августа 1832 г.: «...Г-н Булле представляет письменное сообщение по поводу ходатайства о присвоении звания члена-корреспондента, возбужденного князем Элимом Мещерским, камер-юнкером русского императора, причисленным к императорской миссии при сардинском короле и кавалером ордена Белого сокола. Князь Мещерский прислал в подкрепление своей просьбы печатную записку на французском языке, озаглавленную: «О русской литературе». Докладчик анализирует ее и дает о ней похвальный отзыв, а в заключение предлагает внести автора в список кандидатов-корреспондентов. Это предложение принято комиссией...».

Заседание 4 декабря 1832 г.: «...Настоящее заседание, будучи созванным экстренно, принадлежало к числу тех, которые академия, согласно своему уставу, посвящает выборам. Г-н Гранперре, докладчик комитета по представлению кандидатов, делает устный доклад, из которого явствует, что... число членов-корреспондентов, определенное уставом в 80 человек, сократилось, вследствие нескольких смертей, до 75; он предлагает заместить пять вакантных мест и, прочитав список кандидатов, отмечает пятерых, которых комитет считает должным представить в следующем порядке: гг. де-Ладусетт, Одиффре, Смит, Сибрарио и князь Мещерский...».

Заседание, имевшее место во вторник, 15 января 1833 г.: «...Князь Элим Мещерский прислал академии письмо, помеченное Парижем, в котором благодарит наше общество за честь, которую оно ему оказало, внося его имя в список членов-корреспондентов».

Это избрание давало князю Элиму еще одно лишнее звание — французского литератора — не более, но звание это (отныне мы его найдем на всех работах, которые он будет опубликовывать) явилось, надо сказать, очень кстати. С 30 августа 1832 г. кн. Элим был атташе парижского посольства; начиная с 14/26 апреля следующего года, через какие-нибудь четыре месяца после принятия в Лионскую академию, он возбуждает ходатайство о должности корреспондента министерства народного просвещения (см. выше, стр. 377).

#### IV

Так добровольная миссия князя Элима становится миссией официальной. Письмо к князю В. Ф. Одоевскому, помеченное Констанцем, рисует нам кн. Элима летом 1833 г., совершенно одержимым своим монархическим и православным национализмом. С вежливой иронией он призывает Одоевского выступить с «красноречивой защитой» в пользу монархических чувств; он заранее радуется получить вскоре возможность «отдаться исключительно науке и искусствам».

## Князю Одоевскому, в С.-Петербург

Констанц, 5 сентября 1833 г.

Не могу достаточно отблагодарить вас, дорогой князь, за вашу любезную память обо мне и за то лестное внимание, которое вы мне оказали, послав мне несколько раз ваши произведения. Как только мои занятия мне позволят, я познакомлю с ними французскую литературу, и я уверен, что это будет для нее хорошее знакомство. Я не буду вам делать комплиментов по поводу таланта, отмечающего ваши писания: он всеми признан, и мой слабый голос потерялся бы среди гораздо более авторитетных похвал, которые вы должны слышать со всех сторон. Но я не могу лишиться себя удовольствия сказать вам, как я счастлив, видя, что национальные идеи поддерживаются и защищаются таким писателем, как вы. Вы открыли нашим молодым литераторам путь добра и истины: вне его нет будущего для нашей страны. Я вижу в вашей «Сказке о том, как опасно девушкам...»<sup>115</sup> более, чем сказку: я вижу здесь начало противодействия, которое нельзя не приветствовать в деле воспитания нашей молодежи. Ах, князь, если бы вы и далее проявляли настойчивость, предлагая нашей публике идеи национальности и религии, приодев их по-модному! Таким образом, они смогут получить доступ в наши салоны, — а именно салоны и нуждаются в них больше всего. Если и в дальнейших ваших произведениях я буду иметь удовольствие находить красноречивую защиту монархических чувств, столь глубоко связанных с русской национальностью и уже тысячу лет составляющих мощь России, то вы, мне кажется, исполните в совершенстве благородную миссию, на вас возложенную.

Мне очень жаль, дорогой князь, прервать свою беседу с вами. Дайте мне возможность продолжить ее в Париже, где я буду через несколько дней. Перемена, только что происшедшая в моей службе, позволит мне отдаться исключительно науке и искусствам, у меня будет, стало быть, больше досуга, чем прежде, чтобы посвятить вам несколько минут, — это будет для меня занятие столь же полезное, сколь приятное.

От всей души всегда ваш

Элим Мещерский.

Тысяча дружеских приветов вашему тестю и Виельгорскому<sup>116</sup>.

Повидимому, отношения князя Элима к В. Ф. Одоевскому не достигали никогда подлинной духовной близости. Аристократическое происхождение обоих и даже некоторое родство через браки (Одоевский был женат на Ланской), их общий культ России, долженствующей сознать свою национальную сущность («народность»), наконец, свойственные обоим порывы религиозной мысли не давали еще достаточного основания для их сближения. Сходство было часто поверхностным, а различия глубокими. Князь Одоевский по матери происходил из народа: его сильный и ясный ум, его критическое чутье, философский склад его религиозного чувства, наконец, его качества человека действия не вязались с мышлением князя Элима, более восторженным, чем систематическим, с его заранее данной и предшествующей всякому философскому усилию верой, с его склонностью к увлечению словами, столь характерной для поэта, со всем его обликом слепого и преданного несбыточным мечтам патриота. Вопреки видимости, велика была разница между автором «Писем русского» и ав-



тором «Lettre-plaidoyer en faveur de la nation russe, contre M. Alphonse Karr», которое Одоевский опубликовал в Ницце в 1837 г.

Для освещения их отношений мы располагаем еще всего лишь одним письмом, относящимся, без сомнения, к 1839 г. Но и в нем выражения дружеских чувств, обычные между родственниками и коллегами, не позволяют усмотреть действительной близости между людьми:

Париж, сего 18/30 ноября [1839 г.]

Дорогой Владимир, я не отвечал на ваше письмо, потому что подыскивал корреспондента, о котором вы меня просили. Наконец, я нашел человека, способного выполнять корреспондентскую программу, намеченную вами, но, прежде чем приняться за работу, этот человек желает знать плату, назначаемую вами за статьи, и способ, по какому они будут расцениваться. Как только вы разрешите этот вопрос, — корреспонденция наладится. Было бы также хорошо, если бы вы дали мне знать, могут ли статьи посылаться вам по почте и кому их следует адресовать<sup>117</sup>. Спасибо за слишком лестные строки по моему адресу, которые вы напечатали в вашем журнале<sup>118</sup>. Что касается моего сотрудничества в энциклопедическом журнале<sup>119</sup>, то я не могу предложить его, принимая во внимание мои работы на французском языке. Все же спасибо за память обо мне; это новое доказательство вашей дружбы, и я тронут до глубины души. Простите, дорогой Владимир, что не могу писать вам более подробно: неожиданный отъезд курьера, который доставит вам эти несколько слов, меня подстегивает. У меня есть только время, чтобы обнять вас и поцеловать (не истолкуйте дурно) нашу дорогую Ольгу в обе щеки. Мне очень нехватает вас обоих в Париже. Варвара шлет вам тысячу нежностей, так же как тете и кузену Ланскому. Мои «Бореалии» появились, и я рекомендую их вашему вниманию, но у меня сейчас нет экземпляра, чтобы послать вам. Прощайте, не забывайте нас!

Ваш сердечно

Элим<sup>120</sup>

V

Князь Элим примыкает к тому значительному религиозно-философскому движению, которое из Германии перешло в Россию в конце 20-х годов XIX столетия. Он примыкает к нему, как Иван Киреевский, Одоевский, Погодин, как все московские «любомудры». Но примыкает он совершенно независимо от них: если его пребывание в Германии дало ему возможность изучить Шеллинга, Бадера, Деллингера (он представил даже одну из своих ранних работ Бадеру), то переезд во Францию привлек его внимание к тем французским философам, которые силились, со своей стороны, построить философскую систему, вдохновленную христианством. Эти интересы вскоре затмили в нем опыт лет, проведенных в Германии. Он начинает усматривать в развитии шеллингианства опасность для самых дорогих ему идей; он открывает у Гегеля первоисточник всех революционных угроз; и, в смятении разочарования, «страсбургский философ», аббат Ботэн, представляется ему, как вожатый того религиозного возрождения, которое должно укрепить «святую Русь» и приблизить к ней заблудший Запад. Князь Элим входит в сношения с Ботэном, и ни один документ не освещает его мысли лучше, чем диалог, завязавшийся между этими двумя деятелями.

Страсбургская школа к концу 1833 г. была в полном расцвете. Ботэн «воспринял общие основы традиционализма, сформулированные де Местром и де Бональдом». Но он преобразовал их, приняв традицию не более как за русло религиозной веры. Его философия представляла собой «теологию, основанную на пережитом опыте христианских догм, всю проникнутую мистической интуитивностью»; она «предполагала веру, как изначальное данное, и стремилась только высвободить все ее содержание, чтобы основать на нем трансцендентное знание, способное разрешить все великие проблемы». Это значит, что она противопоставляла себя тому «обманчивому здравому смыслу, который Ламене все более и более демократизировал». Это значит также, что князь Элим мог здесь найти сразу все — и традицию, и веру, и отвечающую его природе мистику. Он должен был увидеть здесь даже еще большее: источник христианской науки, которая примирит католицизм Ламене и католицизм Бональда, Запад и Восток, и сольет различные церкви в единую церковь знания. Таковы пылкие и наивные мечты, в которых он исповедуется аббату Ботэну, те самые, без сомнения, которые вдохновили работу, ныне утерянную, представленную им учителю<sup>121</sup>:

Милостивый государь!

Париж, 23 марта 1834 г.

Вы не должны удивляться тому, что все люди, искренно призывающие в своих молениях союз науки и религии, признают себя вашими учениками и радостно приветствуют ваше появление в мире философии. Я лщу себя поэтому надеждой, что вы будете настолько любезны, что простите мне смелость, с какой я беседую с вами, не имея чести быть вам лично известным. Находясь в тесных сношениях со многими немецкими философами<sup>122</sup>, которые также трудятся над великим делом крещения божественным знанием творений науки человеческой, я изучал со всем пылом молодости проявления той философской реакции, которая как будто обнаруживается в данный момент в пользу христианства. Я принадлежу стране, где вера еще жива, где ложная философия имела мало влияния на религиозные верования, глубоко вкоренившиеся в сердце всего народа. Я — русский... и желаю ознакомить мою родину с фактами и идеями, приведшими к этому счастливому результату. Я написал несколько лет тому назад небольшую работу, которую позволяю себе, милостивый государь, предложить вашему вниманию, прося вас не отказать ознакомиться с ней и просветить меня светом своих познаний<sup>123</sup>.

Я прошу вас принять в соображение некоторые оттенки, отличающие догматы моей веры от вашей, и то пристрастие, которого не в силах избежать юный ум, видящий свою родину не такой, какова она есть, но такой, какой она должна была бы быть, какой она может быть. Я прошу вас также направить вашу критику не столько на то, что есть в моей работе, сколько на то, чего в ней нет. Впрочем, этот маленький труд не предназначен для того, чтобы увидеть свет; я изложил в нем несколько идей, которые кажутся мне верными, но им недостает развития и обоснования, почерпнутых в обширных и глубоких исследованиях, которые я не мог еще сделать.

Имея от русского правительства поручение держать его в курсе всего наиболее значительного, что совершается в области наук во Франции, я поспешил ознакомить его с вашими сочинениями. Министр народного просвещения засвидетельствовал мне живейший интерес, внушаемый ему вашим философским направлением, обязав меня не оставлять его в неве-

дении относительно всего, чего коснется в дальнейшем ваше учение. Это, равно как и испытываемая мною умственная и сердечная потребность близости с вами, заставляет меня просить у вас дозволения войти с вами в сношения. Я не стану извиняться за мою навязчивость. Философские истины, подобно истинам религиозным, принадлежат всему человечеству; какие бы страны или какие бы люди ни несли крест науки, они должны следовать за вами по тому благотворному пути, который вы им открыли, и в праве надеяться, что вы протянете им дружескую руку.

Примите, милостивый государь, почтительное выражение моего восхищения и всех самых искренних чувств.

P. S. Будьте добры прислать мне обратно мою работу, когда вы ее прочтете.

Князь!

Страсбург, 4 апреля 1834 г.

Я прочел с живым интересом работу, которую вы сообразовали мне сообщить. Я был подготовлен к этому чтению тем хорошим письмом, которое предшествовало ей на несколько дней. Если влечение вашего ума, равно как и вашего сердца, направляет вас ко мне, вы можете рассчитывать, что с моей стороны отклик на это будет и что отношения, которые вы сообразовали начать, при живейшем желании моего сердца отвечать на ваш призыв, столь почетный для меня, не угаснут по моей вине. У нас с вами одни и те же взгляды на науку. Священное слово, как источник, образец и принцип человеческой науки, — вот исходный пункт. Священное слово, как завершение и необходимое дополнение ко всем знаниям человека и ко всем тревоблениям жизни, — вот предел. И между этими двумя точками проложена истинная дорога христианина — прямая линия, с которой нельзя сбиться ни в области умозрения, ни в области дел. Нужно, как вы это прекрасно сказали, чтобы человеческая наука вся целиком прошла через христианское крещение, и она выйдет из него совершенно возрожденной и живой, тогда как сейчас она мертва. Вот дело, предназначенное нашему веку, который будет веком христианской философии, как тот, который ему предшествовал, был веком философии человеческой, т. е. антирелигиозной. Мы истожили, мы истрепали все, что пришло от человека и от мира, мы вынуждены обратиться к богу и его слову — и только здесь мы найдем жизнь.

Я симпатизирую большей части тех идей, которые вы изложили в вашей работе, и я восхищен отчетливостью ваших взглядов. Тут чувствуется убежденность, а это всегда приносит добро тем, кто добросовестно ищет истину. Я верю, как вы, что ваша родина предназначена сыграть великую роль в современном мире, и доказательство этому то, что все другие народы боятся ее и взирают на нее с тревогой. Может быть, мы немного расходимся с вами в объяснении русского влияния. Я сомневаюсь, чтобы оно в такой мере, как вам того хочется, было духовным и нравственным. Силы мира сего, кажется мне, слишком преобладают в вашем отечестве, чтобы это было возможно. Франция во все времена шла впереди как в добре, так и во зле, и я убежден, что это она именно исправит провиденциально все то зло, для совершения которого она была сатанически использована. Не патриотическое ли это заблуждение и с моей стороны? Однако, это заблуждение вам, быть может, вовсе не трудно будет разделить, так как вы по вашему стилю наполовину принадлежите нам, а стиль — это человек. Впрочем, француз, русский или представитель любой нации — все

мы люди и прежде всего христиане, члены великой семьи, той всемирной церкви тела Иисуса Христа, к которой мы должны принадлежать на веки веков. И в Иисусе Христе—сыне божием, спасителе людей—должны все мы соединиться, чтобы образовать одно единое тело, которого он является главой. В нем должны мы любить и поддерживать друг друга. Во имя его, князь, в нем и ради него принимаю я от всего сердца почетное предложение, которое вы благоволили мне сделать. У нас один господь,



ЛУИ БОТЭН

Литография из „Revue d'Alsace“, 1836 г.

одно крещение! Дай бог, чтобы у нас была также единая вера и единая церковь, чтобы не было более ни Востока, ни Запада, ни Юга, ни Севера, но одна семья, одно единство, все люди едины в Иисусе Христе, как он один со своим отцом.

Благодарю вас, князь, за благосклонные сведения, которые вы благоволили сообщить вашему правительству о моем философском учении. Если оно одобряется вашим правительством, это признак того, что последнее одушевлено христианским духом. В таком случае я чувствую к нему уважение.

Что касается вашего уважения, столь сердечно выраженного, то оно было для меня равно приятно и почетно, и я прошу вас принять взамен уверение в моем глубоком почтении и в моих сердечных чувствах.

Ботэн

[Без даты]

## Милостивый государь!

Ваше столь благосклонное письмо доставило мне чувствительное удовольствие. Верьте, что я с тем большим усердием воспользуюсь дозволением, которым вы меня удостоили, прибегать к вашему просвещенному мнению, что снисходительность, с которой вы соблаговолили принять мою работу, доказывает, что вы присоединяете к терпимости философа благость пастыря. Я весьма польщен, видя, что мои основные идеи вами подтверждаются; что касается моих взглядов на Францию, я готов принести почтительное извинение перед вами и перед ней. Я писал свою работу под впечатлением последней политической катастрофы. В это время религиозное движение в вашей стране едва только начинало проявляться; католическая философия г. де Ламене толкала к антихристианской идее суверенитета народа, а вас я тогда еще не знал. Все же я упорствую в убеждении, что христианская наука может развиваться с большей быстротой в России, чем во Франции. Там она может привиться к здоровому и мощному стволу; здесь же нужно зерно кидать на поле, покрытое плевелами. Но я твердо верю в христианское будущее цивилизованной Европы; я считаю это будущее более близким для Франции, чем предполагал когда-то, потому что добро, как и зло, быстро развиваются в этой стране.

Вы довершите вашу любезность, милостивый государь, если захотите почтить мою рукопись некоторыми критическими замечаниями и затем вернуть ее мне с почтой, ибо у меня нет другой копии с этой работы. Я буду просить вас в то же время соблаговолить ознакомить меня с изданиями, как выпущенными вами, так и подготовляемыми, дабы я мог приобрести их и дать о них отчет моему министру, согласно желанию, им высказанному. Будьте добры извинить мою навязчивость и верьте в мою живейшую признательность и сердечную преданность.

Элим Мещерский

Севр, близ Парижа, 2 июля 1834 г.<sup>124</sup>

Путешествие, которое мне пришлось предпринять как раз в тот момент, когда я получил посылку, любезно присланную вами через посредство г-жи де Жермини<sup>125</sup>, заставило меня отсрочить до сегодня удовольствие выразить вам всю мою признательность за ваши интересные сообщения. Вернувшись вчера, я нашел новое свидетельство вашей благосклонной памяти. Примите же уверение в моей усерднейшей благодарности.

Ваши брошюры, присланные ранее, уже в Петербурге<sup>126</sup>; ваш ответ на «Слова верующего» будет незамедлительно присоединен к ним. Я счастлив, что вы вступаете в борьбу с христианским титаном. Я этого ждал. Вы призваны, мне кажется, удержать колесницу христианства над откосом, куда увлекают ее слишком пылкие умы. Книга г. де Ламене заставила меня содрогнуться. Самый смертельный враг христианства не мог бы действовать лучше. В тот момент, когда верующие люди не видят в будущем другого спасения, кроме как в усилиях склонить правителей и управляемых к истинным доктринам христианства, — в это самое время, повторяю, слуга евангелия начинает доказывать правительствам Европы, что католицизм может привести к общественному перевороту ничуть не хуже религии Робеспьера. Куда же это нас приведет? Есть от чего от всей души воскликнуть: Горе! Трижды горе!

Я ожидаю с живейшим нетерпением вашей полной формулировки некоей христианской философии<sup>127</sup>, или лучше просто христианской философии, так как я надеюсь, что философия, вытекающая из христианства, будет единой, как само христианство. Скажите мне, милостивый государь, находится ли в пределах возможного это единство в философии, которое мне провидится, которое я призываю во всех моих молениях, или это только мечта юного и неопытного ума? Я понимаю, что Стюард, Декарт, Кант, Шеллинг, Окен, Гегель не могут согласиться друг с другом, но разве не возможно увидеть Ботэна, Ламене, Бональда, Делингера, Бадера, являющимися как бы членами одного и того же философского тела некоей церкви науки, главой которой будет Христос, так же как он есть глава церкви христианской? Так как может случиться, что мне придется когда-нибудь влиять на направление философских изысканий в моем отечестве, то я с ужасом вижу трудности, возникающие со всех сторон, как только дело идет о том, чтобы привести науку (построенную на христианской основе) к единству доктрин. Я буквально не знаю, какому святому мне молиться.

Благоволите сообщить мне, что вы думаете о философии Бадера; я до сих пор не мог обратиться к вам с вопросом о ней. Простите, милостивый государь, простите мои докучливые запросы; я считаю вас своим духовным отцом во всем, что касается научной религии; не откажите же мне в ваших советах и утешениях. Я должен также поблагодарить вас за те замечания, которыми вы почтили мое маленькое писание. Я вполне согласен с вами относительно моих преувеличений по поводу Франции. Вопреки вашему любезному ободрению, я продолжаю думать, что моя работа в таком виде, какой она имеет сейчас, не может увидеть свет.

Примите, милостивый государь, новое уверение в моем искреннем почтении.

Элим Мещерский

Париж, 1 сентября 1834 г.

Милостивый государь!

Несколько времени тому назад я писал вам, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сообразовали прислать мне через посредство г-жи де Жермини. Сегодня я должен сообщить вам о том сильном впечатлении, которое ваши издания произвели в моем отечестве — в стране, столь подготовленной к тому, чтобы вас оценить. Я получил недавно от г. Уварова, министра народного просвещения в России, официальную бумагу, содержащую следующее место, которое я с удовольствием переписываю буквально.

«Г-н аббат Ботэн не будет, вероятно, в претензии, узнав, что он нашел у нас много читателей и друзей. Его речь о преподавании философии была превосходно переведена по-русски, как вы могли видеть, если аккуратно получаете «Журнал Министерства Народного Просвещения». Помимо того, я разослал по русским университетам циркуляр, чтобы обратить их внимание на тенденцию этого нового учения и рекомендовать прилежно следить за его развитием. Мы ждем с нетерпением выхода в свет философского словаря г. Ботэна и, надеюсь, примем его, — поскольку автор, оставляя в стороне все специально католическое<sup>128</sup>, дает нам то, что он обещает: христианскую философию, столь превосходно определенную в его блестящем труде о «Конференциях».

Ваша речь о преподавании философии в XIX в. была в самом деле превосходно переведена и напечатана почти *in extenso* в вышеупомянутом журнале<sup>129</sup>. Я постараюсь достать экземпляр этого номера, чтобы послать вам. Хотя вы не знаете нашего языка, но я предполагаю, что вам, может быть, приятно иметь этот документ и знакомить с ним русских, которых вы можете встретить. Вы видите, милостивый государь, что русское правительство жадно до просвещения и до истины и что оно возлагает большие надежды на ваши дальнейшие работы. Я же не могу достаточно благодарить бога за то, что ваши философские наставления становятся известными в моей стране, и я поздравляю себя с тем, что содействовал быстрому их проникновению. Вот толчок для того христианского направления, которое я давно хотел видеть в научном развитии России,— как вы могли убедиться из того маленького сочинения, с которым я вас ознакомил. Вам, милостивый государь, принадлежит слава водрузить первые вехи на этом новом пути, открытом для Разума в России.

Пусть это счастливое обстоятельство принесет сладостное утешение вашей душе, столь христианской, столь поистине католической,— в случае, если бы вам пришлось жаловаться на несправедливость или зависть на лоне вашей родины. Я опасаясь для вас партийного духа, страшусь некоторых умов, которые, с похвальной, без сомнения, целью, отвергают, однако, слишком категорически всякую идею прогресса. Во французском духовенстве слишком много лиц, которые смешивают то, что может быть изменено в религиозном учении, с принципами, которые должны оставаться неизменными и прочными. Ибо нет достаточного понимания того, что, если основа учения должна оставаться неизменной, его форма должна быть прогрессивной и применяться к потребностям времени.

Примите, милостивый государь, вновь мое уверение в искреннем почитании.

Элим Мещерский

Страсбург, 8 сентября 1834 г.

Князь!

Новости из России, сообщением которых вы оказали мне честь в вашем последнем письме, явились для меня сладким утешением, и я отношу значительную долю их за счет усердия, которое вы благоволили вложить в ваши послания, и за счет ваших благосклонных рекомендаций. Великая радость видеть, что истина распространяется, и так как я громко исповедую, что не имею другой философии, кроме христианского учения, то отношу всю славу к евангелию и предоставляю всю заслугу тому, кто принес нам его. Я глубоко убежден, что, если преподавание философии примет христианское направление, которое вы так правильно оцениваете,—вера скоро оживится во всех душах, и цивилизованное человечество будет еще иметь перед собою прекрасный удел. Счастлива страна, которая даст первый пример этого. Я желаю, чтобы это была моя родина, наша прекрасная Франция, обычно идущая впереди как в добре, так и во зле. Но если бы, по особому промыслу божьему, такой оказалась ваша родина, я приветствовал бы ее с почтением и любовью, ибо родина христианина там, где истина и милосердие.

Я буду вам крайне признателен, если, при ваших сношениях с г. министром народного просвещения в России, вы будете добры передать ему выражение моего уважения и моей благодарности. Я постараюсь в буду-

щем доставлять ему через ваше посредство, если вы разрешаете, все, что мне случится опубликовать.

Действительно, я встречаю во Франции, и особенно со стороны духовенства, тягостное и, решаюсь сказать, слепое противодействие, потому что, по большей части, они не знают, что они отбрасывают и осуждают. Но это неизбежно: всегда, когда вы призваны идти вперед и содействовать прогрессу, вы стесняете тех, кто не хочет идти, и они делают все, что могут, чтобы помешать вам двигаться. Это, к несчастью, то самое, что делает в настоящий момент церковная власть. Она так боится, чтобы кто-нибудь не упал, что не хочет, чтобы вообще ходили. Причина этой ошибки заключается в смешении, как вы отмечаете в конце вашего уважаемого письма, того, что неизменно, незыблемо — с тем, что по природе своей подвижно, изменчиво.

Да, князь, я, как и вы, верю, что в философии возможно единство, и не отчаиваюсь увидеть его водворившимся. Но это может быть только единство христианское — единство поистине вселенское. Лишь через веру в божественное слово, принятое, как принцип, как исходный пункт, сможем мы прийти к соглашению друг с другом, а одинажды признав это божественное слово, — таким, каким оно передано нам властью, установленной от бога, чтобы его хранить и возвещать людям<sup>130</sup>, — достигнув соглашения в основных положениях, мы достигнем его и в вытекающих отсюда следствиях, по крайней мере, в важнейших. Но необходимо, чтобы слово основополагающее было выдвинуто перед всеми единообразно, и отсюда — необходимость во власти, божественно установленной для его возвещения, потому что разум человеческий ни в чем не может явиться основополагающим. Тогда ум человека сможет действительно проявиться, он сможет исследовать, обдумывать это глубокое слово, — и он извлечет из него сокровища света и знания, которые оно содержит. Он не сможет заблудиться, раз принцип установлен и раз власть всегда будет возвращать к нему. Таким образом, новое развитие человеческого разума должно быть соединением авторитета и свободы. Это будет свобода действовать по указаниям авторитета, а этот авторитет не может быть иным, как божественным и, следовательно, чисто духовным. Итак, судьбы философии отождествляются с судьбами религии: это два пути, приводящие к одной и той же цели.

Бадер, о котором вам угодно было спросить моего мнения, человек весьма достойный. Я считаю его искренним христианином в основе, но, может быть, слишком увлеченным идеями Сен-Мартена и Якова Бёме. Он имел бы гораздо больше влияния, если бы писал яснее. Но его стиль способен привести в отчаяние. Мало людей могут его понимать. Это абстракция, утомительная для ума и ничего не дающая душе. Но это один из самых замечательных людей века в философском отношении.

Я должен извиниться перед вами, князь, что не ответил раньше на ваше июльское письмо. Вы знаете, что конец учебного года связан для нас с увеличением занятий. Пожалуйста, не бойтесь стеснить меня как-либо своими вопросами. Для меня всегда будет удовольствием отвечать на них, поскольку это зависит от меня, и это — полезное средство, чтобы поддерживать завязавшиеся между нами отношения, для меня одновременно столь почетные и приятные. Я буду иметь честь прислать вам через несколько дней экземпляр весьма замечательной речи, произнесенной при распределении наград нашей маленькой страсбургской семинарии г. абба-



том де Боншоз<sup>131</sup>, одним из моих друзей. Предмет ее — прогресс в церкви. Мы можем выслать вам впоследствии несколько экземпляров, если вы думаете, что это могло бы быть полезным для России.

Примите, князь, уверение в моем глубоком сердечном уважении

Ботэн

Диалог между князем Элимом и Ботэном заканчивается для нас на этом письме, но мы имеем все основания думать, что он продолжался еще некоторое время. Андрей Муравьев, который немного позже приступает к конкретному обсуждению возможностей соединения восточной и западной церковью, пишет Ботэну: «Внешне, в обрядах, нас отличает немного, и так как я издал сейчас «Письма о богослужении восточной католической церкви», я попытаюсь устроить их перевод на французский язык с тем, чтобы за него взялся один из ваших добрых знакомых, князь Элим Мещерский»<sup>132</sup>. Несомненно, Муравьев имеет здесь в виду труд, известный французским читателям под заглавием «Lettre à un ami sur l'office divin de l'Eglise catholique orthodoxe d'Orient», который был переведен на французский язык князем Николаем Голицыным (Saint-Pétersbourg, 1851—1853)<sup>133</sup>.

Судьба-насмешница захотела, как это констатирует Э. Боден, чтобы князь Элим сблизился с Ботэном, как крупнейшим представителем католической мысли на Западе, как раз в тот момент, когда церковный авторитет отверг страсбургскую доктрину: 1 сентября 1834 г. страсбургский епископ обличил и осудил эту доктрину или, по крайней мере, метод, на который она опиралась<sup>134</sup>.

## VI

Князь Элим не ограничивает, однако, своего внимания к католическим мыслителям одним «страсбургским философом». Он мог еще застать в Петербурге и в Турине воспоминания о Жозефе де Местре. Он разыскивает старого виконта де Бональда в его уединении в Авейроне; он пишет ему в 1834 г.<sup>135</sup>:

«Будучи назначен корреспондентом русского министра народного просвещения, я получил приказание войти в сношения с выдающимися людьми во Франции... Но и независимо от моих обязанностей, личные мои чувства властно влекут меня к вам. Я шлю учителю привет ученика.

Ваши труды воспитали мою душу и мой разум. Христианская наука, христианская политика были и будут делом моей жизни. Четыре года тому назад я задумал план работы о монархической вере<sup>136</sup>. Я не знал еще «*Démonstration philosophique*»: я его предчувствовал... Но то, чего я не мог бы выразить чувством, вы раскрыли разумом. Я радуюсь теперь, что не кончил моей работы. Мне удалось бы, самое большее, мельком взглянуть то, что вы показали. Вы вырвали у истины яркий луч, который озарит вселенную. Неудивительно, что вас не понимают в современной Франции: когда ищут истину на земле, не видят ее на небе. Каждое ваше слово — семя, которое рано или поздно даст росток. Вы сеяли до сих пор между плевелами; но бог начинает пахоту... Наконец, ваше «*Démonstration philosophique*», не говоря о других ваших сочинениях, есть труд поистине католический, т. е. вселенский, и если Франция в данный момент не использует его, то существуют страны, лучше подготовленные почувствовать его благодетельное действие: я указываю в первую очередь на мою родину.

Я дал отчет о вашей прекрасной книге в нашем «Журнале Министерства Народного Просвещения», который выходит в Петербурге. Почему, увы, вы не знаете ближе России? Вы нашли бы 60 миллионов людей, которые явились бы подтвердить своим свидетельством авторитет ваших аксиом. Вы дали общую формулу для закона, созидающего общество, и непогрешимость вашей теории доказывается тем, что она применима к случаям общественного устройства всех времен и всех стран... Вы поистине Ньютон политических наук...».

На основании именно этого письма Анри де Бональд утверждал, что виконт де Бональд «своими сочинениями обратил русского князя Мещерского в католичество»<sup>187</sup>. Утверждение, по меньшей мере, смелое. Из одной заметки в «Журнале Министерства Народного Просвещения» мы узнаем, что князь Элим имел обыкновение надписывать на своих книгах, которые посылал своим друзьям, посвящение: «Православному православный»<sup>188</sup>. И как не различить за вежливым многословием этого письма рвение политическое более, нежели религиозное,—желание добросовестно выполнить обязанности корреспондента Уварова?

## VII

Точно так же и политическое рвение князя Элима не было только идеологическим и проявлялось не только на словах: оно подтверждалось, равным

*Soirée du 27 Mars 1843.*

---

## Programme.

**Première Partie.**

1<sup>er</sup> TABLEAU. — **ESMERALDA AU PIROLI DE QUASIMODO.**

ESMERALDA,	M <sup>lle</sup> Fanny de Caenpachy.
QUASIMODO,	M. le Comte de Berra.
UN SOLDAT,	M. le Vicomte Oziça.

2<sup>e</sup> TABLEAU-SCÈNE. — **Marie d'Angleterre chez le devin de St-Paul,**

Par le Prince ELIM MESTCHERSKI.

MARIE,	M <sup>me</sup> la Marquise de Terzy Caumont.
LE DEVIN,	M. le Prince ELIM.
UN PAGE,	WILLIAM BIRCHAM.

3<sup>e</sup> TABLEAU. — **Troupe de Comédiens avant la Représentation.**

M <sup>lle</sup> de Terzy.
M <sup>me</sup> la Princesse ELIM.
M. le Comte d'ALTON.
M. le Marquis de TERZY.
M. ESTACHE.
M. le Comte BERRA.
BERING BIRCHAM.

**Secundo Partie.**

4<sup>e</sup> TABLEAU-SCÈNE. — **FAUST CHEZ LA SORCIÈRE,**

Par le Prince ELIM MESTCHERSKI.

MARGUERITE,	M <sup>lle</sup> AUGART.
FAUST,	M. le Prince ELIM.
MÉPHISTOPHÈLES,	M. BARTON.

PROVERBE DE LECLERQ. — **MADAME SORBET.**

M <sup>me</sup> SORBET,	M <sup>me</sup> la Comtesse de REGIS.
FLORIMOND, comédien,	M. le Vicomte E. de MAGNIEU.
VICTOR, garçon de café,	M. le Vicomte Oziça.

NICE, Imprimerie SORDET FILS. (Avec permission.)

ПРОГРАММА СПЕКТАКЛЯ,  
ШЕДШЕГО 27 МАРТА 1843 г.  
В ТЕАТРЕ ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО  
В НИЦЦЕ

Частное собрание, Париж

образом, и действиями в пользу его друзей - легитимистов. Именно через его посредство самый блестящий из французских публицистов, преданных делу Бурбонов, Пьер-Себастьян Лоранти (1793—1876), препроводил в июле 1834 г. министру Уварову записку, предназначенную для доклада Николаю I: «О принадлежащем г.\*\*\*\* собрании печатных и рукописных произведений, гравюр, рисунков, медалей, знаков отличия и драгоценностей и других предметов, касающихся бывших и новейших тайных обществ и посвящений».

Записка ученого-коллекционера была ничем иным, как прикрытым учтвой формой предложением о продаже, и император не преминул отнестись к нему так, как того ожидал князь Элим. 21 июня Уваров переслал записку министру двора, а 3 июля 1834 г. сообщил князю и послу Поццо ди Борго об успехе своего ходатайства. Массонской литературе был обеспечен при русском дворе тем более благоприятный прием, что, по мысли монархистов, она должна была просветить самодержца насчет его врагов<sup>139</sup>.

Но князь Элим не ограничился тем, что устроил, чтобы оказать услугу другу, покупку своим государем собрания произведений и предметов, относившихся к масонству, что вполне соответствовало его роли корреспондента министра народного просвещения. Его политический пыл был всецело к услугам легитимистской партии, и именно на него Лоранти рассчитывал, как на адвоката этой партии перед Николаем.

13 мая 1835 г.

Вот, дорогой князь, записка, которую я написал после нашего недавнего разговора. Доверяю ее вашей скромности: это дело чести. Я подпишу ее только в том случае, если вы найдете ее подходящей.

Как раз сегодня мне передали прошение на имя е. и. в., полагая, что вы можете его поддержать. Рекомендую его вашему благосклонному вниманию. Прошу и молю вас переслать его и приложить все усилия к тому, чтобы просьба этого доброго и несчастного старца увенчалась успехом. Какой ответ дать мне ему?

Примите, дорогой князь, уверения в моей преданности и уважении.

Лоранти

#### ЗАПИСКА О РОЯЛИСТСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ

Лицам, так или иначе связанным с Европой, небезызвестно, что роялистская партия в глазах многих кабинетов является предметом предубеждения, и это недоверие не удивит их, если они подумают о неблагоприятных поступках, совершенных этой партией, и о взглядах, продолжающих находить себе выражение на страницах нескольких ее газет.

Однако, было бы еще опаснее, если бы эти предубеждения Европы послужили, может быть, основанием для ее политики в отношении французской революции.

Оттого, что роялистская партия совершает ошибки, французская революция не перестает оставаться разрушительным принципом для всех монархий.

И более того: несмотря даже на эти ошибки, роялистская партия продолжает оставаться охранительницей и защитницей спасительного начала для общества.

Из этого следует, что, вместо того, чтобы оставлять роялистскую партию из-за ее ошибок на произвол судьбы, правильная политика должна заклю-

чатся в том, чтобы понудить ее притти к более правильным взглядам или, по меньшей мере, вести себя по отношению к революции так, как если бы роялистская партия нападала на нее всегда умело.

Впрочем, настало время обратить внимание главнейших кабинетов на то, что нельзя скрывать от себя,—что французская роялистская партия достаточно изменилась с 1830 г. для того, чтобы позволено было не считать подлинными ее органами газеты, выражающие ее прежние взгляды.

В палате пэров, а равно и в палате депутатов, имеются роялисты, пользующиеся большим авторитетом как во Франции, так и в Европе, и их идеи не представляются ни *G a z e t t e*, ни *Q u o t i d i e n n e*, хотя между ними и этими газетами продолжает оставаться общою одна и та же мысль: л е г и т и м н о с т ь.

Было бы, следовательно, несправедливо переносить предубеждение против той части роялистской партии, которая следует взглядам *Q u o t i d i e n n e* или *G a z e t t e*, на роялистскую партию в целом, разделяющую мысли г. герцога де Ноайль и г. Беррье и имеющую публичным своим истолкователем газету *R é p o v a t e u r*.

Бесполезно доискиваться, какой из существующих взглядов, по преимуществу, разделяется всей роялистской партией Франции.

Достоверно то, что ни один роялист не осмелится сказать, что ему не по пути, например, с г. Беррье. Но разве г. Беррье находится в таком положении, что на него распространяется недоверие кабинетов? И если бы вся Франция была открыто охвачена его политическими доктринами, то можно ли было бы сказать, что Европе следовало бы страшиться этого так, как если бы эти доктрины предлагали ей революцию в другой форме?

Нет нужды отвечать на этот вопрос.

Роялистская партия—представляет ли ее г. герцог де Ноайль и г. Беррье или *R é p o v a t e u r*—партия не Франции: это партия Европы.

Для этой партии существует в этой Европе только одно монархическое общество, объединенное одним и тем же принципом и сплотившееся для охраны социального строя.

Притязание сделать Францию изолированной и стоящей над всеми другими странами—революционное безумие, охватившее некоторые роялистские головы, потому ли, что одни из них не видели нелепости всеобщего движения, увлекающего сразу все государства Европы, потому ли, что другие думали, что такой способ понимания политики обеспечит их взглядам известную популярность.

Как бы там ни было, ошибка все та же. Но это ошибка небольшого числа умов, заблуждающихся или честолюбивых, а не всей роялистской Франции.

Роялистская Франция вместе со своими ораторами и писателями понимает, что ее дело неотделимо от дела европейских монархов.

Она не требует—боже упаси!—чтобы государи поднялись со своими армиями с целью еще раз напасть на революцию в ее очаге. Она полагает, что революция угаснет сама собой, если только состоится всеобщее соглашение о том, чтобы оспорить у нее власть. Она просит государей не казаться равнодушными к правому и неправому делу. Она просит их оказать известное воздействие, более могущественное во времена, подобные нашим, чем действия армии. Она просит их не создавать видимости, будто они санкционируют революции, когда эти революции оканчиваются или когда исход их неясен; она просит их, наконец, ради ли себя, ради ли их са-

мих — принять во внимание природу революционной мощи, мощи более опасной, когда она набирается идей, чем когда она проявляется в бурном насилии, и, таким образом, партия доказывает необходимость учредить большую лигу наций, и притом вовсе не для того, чтобы отгородить одни из них и охранять другие, а для того, чтобы все их спасти от бедствия, которое не останавливается у таможенных границ и преодолеть которое можно, только противопоставляя ему прямоту понимания и моральную мощь политики.

Такова подлинная роялистская партия Франции — партия европейская, партия социальная, партия христианская, которую следует отличать от котерий, если хотеть составить правильное понятие о ее медленной, последовательной и дальновидной деятельности.

Эта партия относится с уважением к государям, даже когда она считает себя, ради их собственной пользы, обязанной и имеющей право напоминать им о принципах, обуславливающих безопасность империи. Она не ищет пустой популярности, расхваливая французскую нацию в ущерб всем другим. Она объединяет все нации в общем принципе цивилизации, и если, признавая известные потребности современности, она порождает идеи вольности и свободы, присущие, впрочем, природе человека, то она в высшей степени связывает их с основной идеей власти, идеей-матерью, без которой невозможен ни порядок, ни даже самая свобода.

Итак, очевидно, насколько важно, чтобы кабинеты не судили о роялистской партии по бахвальству некоторых ее газет.

В этом бахвальстве содержится известная мания популярности, сбивающая с толку иных людей. Кабинеты стоят на такой недостижимой высоте, что эти мелкие приемы текущей политики не должны влиять смущающим образом на их великие виды на будущее.

Пусть же они думают, что рассудительные французы идут по пути совершенно противоположному. Но разум всегда остается господином. Роялистская партия, в течение пяти лет пытавшаяся делать бессмысленные вещи, истощила все свои силы. Роялистская партия, в течение пяти лет взывавшая к сдержанности, к умению и дальновидности, вновь становится всесильной.

Это — та партия, которая в настоящий момент представляется противным партиям центром мощного действия, при той крайней моральной анархии, которая кончает пожирать революцию. На эту партию должна взирать Европа. Ее влияние простирается на всех людей, желающих, чтобы в конце концов установился порядок. Ее мудрые взгляды близки всем старым обломкам прежних правительств, и правильно будет сказать, что от Европы зависит укрепить ее, оказав ей доверие, и дать ей возможность подготовить без потрясений восстановление единственного порядка, способного примирить все интересы, утишить все разногласия и восстановить все права.

Париж, 11 мая 1835 г.<sup>140</sup>

Нет нужды подчеркивать политический интерес этой записки, столь определенной и твердой. Судьба французской монархии представлена в ней в соответствии с концепцией, близкой князю Элиму, вследствие ее связи с судьбой русского самодержавия: монархическое дело, как и его противница, революция, едино и неделимо. Но Лоранти, по всей очевидности, меньше ожидает спасения Европы от царя Николая, чем от фран-

цузской роялистской партии — «партии европейской, партии социальной, партии христианской». Подобно аббату Ботэну, он испытывает перед лицом православного государя беспокойство католика и не может удержаться от того, чтобы не высказать князю Элиму этого чувства в прощальном письме, написанном в мае 1836 г.:

Париж, улица Мезьер, № 8, 4 мая 1836 г.

Дорогой князь!

Я хочу письменно возобновить сожаления по поводу вашего отъезда, равно как мои пожелания всяческих благ вам и вашему великому отечеству. Вы уносите в себе самом сладостное свидетельство того, что вы все сделали, чтобы оставить во Франции правильное представление о моральном состоянии вашей страны и ее высоком назначении. Что касается меня, то я хотел бы быть как бы вашим соотечественником. Никто больше меня не верит в будущее России. Россия — единственная империя, шествующая в настоящее время впереди цивилизации, не компрометируя и не бросая на произвол судьбы великие интересы политического порядка. Именно это убеждение и заставило меня посвятить вам мое перо. *La Quotidienne*, которую я редактирую вместе с г. Мишо, будет всегда выражать идеи, согласные с вашими. Смотрите же на нас, как на эхо во всем том, что сочтете нужным предпринимать для пропаганды мыслей, благоприятствующих, говорю, не только одной вашей стране, но всему человечеству. Есть один деликатный вопрос и, как вы знаете, очень для меня серьезный: это вопрос религии. Но в этом отношении я хочу продолжать думать, что дух справедливости, свойственный императору, обещает безопасность нашим католическим братьям; я думаю, что нас часто обманывали, рассказывая нам о Польше. Вы знаете мои мысли об этом предмете, я опираюсь здесь на лояльность объяснений, которые вы несколько раз мне представляли.

Итак, дорогой князь, трудитесь на пользу великого европейского братства: вы больше кого бы то ни было сделали для этого. Я буду помогать вам в меру своих слабых сил. Вспоминайте обо мне и будьте уверены в том, что я навсегда сохраню чувство нежной преданности, с которой имею честь быть,

дорогой князь, вашим покорнейшим  
и сердечно расположенным слугою и другом  
Лоранти

Адрес: Князю Элиму Мещерскому  
Улица Фермы, № 11, Париж<sup>141</sup>

## VIII

Не забудем, что князь Элим — чиновник. Он несет обязанности корреспондента Уварова. Он должен быть бдительным: предохранять французских читателей от информации, враждебных России, доставлять им информации официозные или, попросту, официальные, осведомлять русское министерство народного просвещения о духовной жизни Франции. Словом, у корреспондента Уварова много дела.

Так, «*Journal de l'instruction publique et des cours scientifiques et littéraires*» от 3 августа 1834 г. преподносит ему статью на двух столбцах:

«О воспитании в Русской империи» (стр. 426), где он без всякого удовольствия читает, среди многих других, следующие «любезности»:

«Недавно Gazette de Berlin опубликовала план воспитания, изобретенный или принятый императором Николаем для его подданных; мысли и тайные намерения самодержца выдают себя здесь в каждой строке. Строго запрещено всем русским, каково бы ни было их положение и состояние, воспитывать своих детей вне России и в иностранных школах.

В каждом университете правительство имеет своих шпионов, которые под видом служащих наблюдают за профессорами, следят за их действиями, слушают их лекции и дают об этом отчет. Этот шпионаж, опасный для профессоров, не менее опасен и для семейств, боящихся быть скомпрометированными легкомысленными словами или ветренным поведением учащихся или же лишиться своих детей по капризу правительства... Ни один наставник не может давать уроков в частных домах, если он не получил от учебной комиссии удостоверения в моральной и научной правоспособности. Эти удостоверения выдаются только тем, кто соглашается исполнять, вместе с профессией наставника, функции доносчика. Это тайные агенты, которых правительство пристраивает при каждом семействе.

Будь то частное или общественное воспитание, но оно повсюду в России носит одновременно аристократический и военный характер. Оно рассчитано на жизнь в лагере, а не на гражданский быт; русское правительство готовит людей только для битв и завоеваний: к сведению Европы».

Корреспондент Уварова тотчас же реагировал на это выступление, но на этот раз не велеречивым протестом; умудренный опытом или вразумленный инструкциями своего министра, он знакомит редакцию «Journal général de l'instruction publique» с первыми выпусками «Журнала Министерства Народного Просвещения». Редакция не сдается, однако, заметно смягчает свое отношение, о чем свидетельствует тот факт, что через месяц, в номере от 4 сентября (стр. 375—476), отмечается получение нового журнала русского министерства народного просвещения:

«Если в этом журнале нельзя встретить ни малейшего признака независимости, потому что он составляется в канцеляриях министерства (известно, что в Русской империи цензура распространяется на все виды изданий), то в нем можно найти зато любопытные документы и весьма интересные подробности о научных и литературных учреждениях в России и за границей, богатую и разнообразную статистику, разбор всех заслуживающих внимания работ, отчеты о трудах Петербургской академии наук и Российской академии, основанной, как Французская академия, в целях усовершенствования национального языка.

Следует отметить в этом сборнике статью о реформе общественного воспитания во Франции, в которой намерения и рвение г. Гизо оценены по заслугам. Мы с удовольствием констатируем в этой статье многочисленные заимствования из «Journal général...», который начинает проникать в Россию и в Германию. Если мы позволяем себе выразить здесь чувство личного удовлетворения, то это потому, что нам приятно видеть, как народы, далекие от подчинения одинаковым политическим идеям, сближаются через посредство науки и в ее интересах,—потому что, со своей стороны, нам приятно подготавливать этот столь желательный союз.

Несколько месяцев тому назад<sup>142</sup> мы напечатали некоторые соображения по поводу аристократической тенденции, которой запечатлено в Русской империи общественное воспитание. Мы восставали против системы

недоверия, которая особенно тяжело отражается на иностранных наставниках. Хотя мы не переменили своего мнения, мы считаем своим долгом, беспристрастия ради, предложить нашим читателям точный перевод ответа, который дало правительство на нашу статью в своем официальном журнале»...

Не прошло и трех месяцев, а «Le Journal général de l'instruction publique» еще прогрессирует в своем добром расположении к России. В номерах



*Le Prince Elim Meshchersky*

ЭЛИМ МЕЩЕРСКИЙ

Гравюра с портрета маслом неизвестного художника, 1830-е гг.

Национальная библиотека, Париж

от 6 и 28 ноября (№ 2, стр. 5—6, и № 8, стр. 34) помещена во французском переводе князя Элима «Первая лекция о всемирной истории (курс, читаемый в Московском университете)» М. Погодина<sup>143</sup>. Тексту предшествует несколько снисходительных строк, исходящих, повидимому, от редакции, но нам слышится в них иронический отклик на какое-то письмо или заявление в духе князя Элима:

«...Нам всегда было ясно, что космополитизм является одним из условий науки, что за наукой нужно следить и что ее нужно приветствовать во всех климатах и под всеми широтами. Итак, читатель простит нам, что



мы заставляем его несколько стремительно перейти из зал Collège de France и Сорбонны в Московский университет. В Москве, этой древней столице Московии, движение наук принимает формы весьма примечательные: там умы, проникнутые немецким мистицизмом, отдаются вдохновению, нередко неопределенному и смутному, но горячему и искреннему; там мысль, неуверенная и боязливая, любит завесы и таинственную темноту скинии, которую изредка пронизывают и озаряют молнии...».

Одновременно князь Элим занят ознакомлением читателей другого журнала, более общего характера, с русскими делами. В том же самом 1834 г. он помещает две статьи за своей подписью в «Panorama littéraire de l'Europe» (том II), а именно: «De la satire en Russie aux diverses époques de la société russe» (pp. 7—18) и «Poésies cosaques» (pp. 372—389). Обе статьи лишний раз стремятся поставить русскую литературу на место, принадлежащее ей по праву среди европейских литератур. Первая представляет довольно яркий историко-литературный эскиз. Вторая, украшенная эпиграфом, взятым из Гюго («Un Cosaque hideux...» — «Отвратительный казак...»), ставит себе целью заменить точными сведениями о казаках те обидные формулировки, которыми довольствовало общественное мнение по отношению к ним. Чтобы «просветить казакофобов», он дает краткий, но изящный исторический очерк, сопровождаемый отрывками из былин (а именно из «Дона Ивановича» и «Завоевания Сибири Ермаком»). В наших глазах эта статья имеет то достоинство, что свидетельствует о знакомстве литератора 30-х годов с народной поэзией, в которой скоро славянофилы найдут одно из самых драгоценных сокровищ русского народа. Князь Элим вложил сюда много своего и, как поэт, заканчивает свой труд картинным сравнением: «Внимая этой нежной и наивной поэзии, рожденной мужественным сердцем донцов, скажешь, что это цветущий плющ обвился вокруг казацкой пики»<sup>144</sup>.

Так князь Элим пользуется всяким удобным случаем, чтобы вызывать перед французами, которых он хочет просветить и изумить, созданный им образ родины — образ иконы, окруженной дымкой ладана, «христианской пирамиды», возвышающейся среди мировых чудес, и одновременно сигнального огня, озаряющего будущее народов. Он пользуется этим образом в «Письме к Эмилю Дешану»<sup>145</sup>.

Родимый предков край! Край чудный и великий!  
 Не над тобою ли стал ангел светлоликий,  
 Сложив свои крыла и с кротостью в очах,  
 Как бы в отечестве, в родимых небесах!  
 О, завещай навек свой фимиам народу,  
 Зефиром сладостным взнесенный к небосводу!  
 Ты набожен пребудь, да будет свят твой дом,  
 Благословенный днесь всеведущим творцом,  
 Кто, алча, чтоб дышал ты верою единой,  
 Над миром христиан воздвиг тебя вершиной  
 И меж творений всех тебя лишь отличил,  
 Тебе быть светочем вселенной положил!  
 Ты, богом призренный, народ святой России,  
 Исполни свой завет, народом будь Мессии!

Ошибки Запада, его лживая цивилизация, его духовный, религиозный и политический упадок, его сердечная сухость — вот что оправдывает миссию

русского народа. Поэт проклинает «материализм с его грязной мишурой», «бездны золота, железа, каменного угля — этот черный хаос»; он осыпает своими насмешками «хребет промышленного века», «котел спекуляций»<sup>146</sup>. Но Запад скоро оправится, он уже начинает приходить в себя:

Кой-где, — о, Аруэ! — видны следы твои,  
 Но вызрели орлы в зародыше змеи.  
 И юные сыны шальных ста лет броженья  
 Сожгли на пламени былые заблужденья.  
 Европа, отрезвась от хмеля, в тьме ночей,  
 Смысл здравый заняла у нас, бородачей...  
 Чудно! Взошли в стране анархии без меры  
 Побегии русские монархии и веры<sup>147</sup>.

Предисловие к «Бореалиям» не оставляет никаких иллюзий читателю еще прежде, чем он возьмется за чтение самого сборника: «Автор — откровенный христианин, монархист и спиритуалист...; он равняется по тем французским умам, которые освободились от ошибок XVIII в. ...В своих стихах автор носит немного длинную бороду, настоящую бороду «мужика»... Он любит, он верит, он чувствует, как эти люди в «кафтанах», ни подбородка, ни верований которых никто еще, слава богу, не коснулся»<sup>148</sup>. Поэт предлагает, как идеал, французам — конституционалистам и либералам после июльских дней не что иное, как «святую Русь» Николая Павловича — свою «химеру», мощь которой он восхваляет, отвечая на распространенное сравнение с «колоссом на глиняных ногах» таким двустишием:

Ее орлины крылья,  
 Гранитные стопы<sup>149</sup>.

Впрочем, служебная деятельность князя Элима не ограничивается этими публичными заявлениями. Усердный чиновник, он заботился также и о том, чтобы снабжать министерство, корреспондентом которого он состоял, всеми изданиями, могущими его интересовать, и мы знаем из письма Александра Тургенева к К. С. Сербиновичу, сотруднику министра, от 2/14 ноября 1835 г., что он исполнял свою задачу добросовестно: «Жаль, что курьеры наши редки и нет okazji отсюда к вам, иначе приложил бы к письму то, что теперь есть любопытного в словесности; но вы и без меня богаты книгами новыми и суждениями о них. К н. М е щ е р с к и й в с е п о с ы л а е т в а м...»<sup>150</sup>.

## IX

Деятельность князя Элима во Франции протекала открыто, но каковы были нити, связывавшие его с русским министерством народного просвещения? Какой представлялась эта деятельность за административными кулисами? Как оценивалась она в Петербурге? Об этом мы узнаем из официальных рапортов корреспондента своему министру и полуофициальных писем, которыми он обменивался с помощником редактора «Журнала Министерства Народного Просвещения» — А. А. Краевским.

Два рапорта Уварову дополняют наши знания о духовных интересах князя Элима и осведомляют нас о некоторых начинаниях, которые он предпринял или собирался предпринять<sup>151</sup>.

Париж, 13/25 мая 1834 г.

Господин министр!

Соблаговолите разрешить мне представить вашему превосходительству мои почтеннейшие и глубоко прочувствованные поздравления по случаю вашего нового назначения. Одновременно прошу вас принять и мою все-нижайшую благодарность за то свидетельство благорасположения, которое вы пожелали мне дать, исхлопотав для меня от щедрот его величества денежное вознаграждение.

Так как отправка курьеров происходит летом менее правильно, нежели зимой, то я испрашиваю у вашего превосходительства разрешения посылать вам в текущем сезоне мои рапорты через постоянного курьера, который отправляется раз в два месяца. Если же курьер от 1/13 мая до сих пор еще не уехал, то это запоздание вызвано стечением непредвиденных обстоятельств.

Я должен просить у вас извинения в том, что моя посылка этого месяца вышла столь объемистой, и взывать к вашей снисходительности в отношении разнообразных работ, которые она содержит. Я постараюсь следующий раз менее обременять внимание вашего превосходительства. Мой несколько растянутый рапорт о христианской философии был написан с таким расчетом, чтобы он мог служить журнальной статьей, в случае, если бы ваше превосходительство захотели предать его гласности.

На этот раз я буду докучать вам философией. Помимо брошюр Ботэна и моего рапорта, я беру на себя смелость представить вам небольшую работу моего сочинения, при сем прилагаемую, о которой я позволил себе говорить вашему превосходительству в моих предыдущих письмах<sup>152</sup>.

Вопреки поощрению г. Бадера, который читал в свое время это сочинение, и вопреки мнению г. Ботэна, который только что вернул мне его с некоторыми замечаниями (я их оставил в моей рукописи), я вполне убежден, что эта книга не может и не должна увидеть свет. Мне было 22 года, когда я писал эти страницы; они отмечены всей экзальтацией юного сердца. Я осмеливаюсь поэтому искать одобрения вашего превосходительства лишь в отношении о б щ е й тенденции этой работы и чувств, в ней выраженных. Исторические сведения, которые она дает, быть может, одни могли бы для чего-нибудь пригодиться, потому что они подкрепляют все, что я говорил и буду еще иметь случай говорить в моих рапортах по поводу нового философского направления, которое намечается в Европе. Но я повторяю: моя работа еще не сделана. Я уделяю в ней много внимания духовному будущему России. Я говорю о нем со всем, может быть, само-надеянным простодушием юности, которая верит в то, что говорит. Теперь, когда это будущее в руках вашего превосходительства, мне ничего больше не остается ни желать, ни советовать. Когда кормчий у руля, юнга должен скрестить руки и почитать себя счастливым, повинувшись приказам начальника.

Дозвольте, господин министр, вновь засвидетельствовать вашему превосходительству выражение моего уважения, преданности и благодарности.

Элим Мещерский

1/13 октября 1834 г.

Господин министр!

...Пользуюсь случаем, чтобы спросить у вашего превосходительства указаний и благосклонного одобрения по поводу одной работы, которую я намерен предпринять незамедлительно. Я думаю, что было бы полезно и даже необходимо в эпоху, в какую мы живем, составить сборник сочинений наиболее знаменитых монархических и христианских публицистов — наподобие только что появившейся книги, озаглавленной «Raison du Christianisme», о которой я даю отчет в моей сегодняшней библиографической заметке. Этот сборник заключал бы наиболее примечательные места из Боссюэта, Фенелона, де Местра, Экштейна, Лоранти, Гакера, Бональда и Ламене (из его первого труда, разумеется), касающиеся догмата легитимизма абсолютной власти и истинных принципов, на которых зиждется общество. Такого труда нехватает науке, и все серьезные люди, которым я сообщал мою идею, приняли ее с большим одобрением.

Продолжительные мои занятия в области социальных наук убедили меня в том, что христианская политика, как и религия Христа, находят себе поддержку не только в сердце человека, но также и в его разуме, и что абсолютное монархическое правление необходимо не только для какой-нибудь одной эпохи, но что эта форма, освященная временем, создана для всех времен, потому что она соотносится с общими законами мироздания. Эта работа окажет, быть может, благотворное влияние у нас, победоносно доказав, что монархические принципы, присущие н а ц и о н а л ь н о м у ч у в с т в у русского народа, согласуются с самой возвышенной философией. Чтобы обеспечить книге (в и н т е р е с а х д е л а) некоторый отзвук, я хотел бы посвятить ее русской просвещенной молодежи, в лице наследника престола.

Я убедился во время моего последнего пребывания в Петербурге, что наши молодые люди занимаются философией и социальными проблемами гораздо больше, чем я думал, — со мной говорили о Монтескье, Канте, Гегеле, Шеллинге, даже об Окене; но очень мало кто знает де Местра, Гакера или Бональда. Когда рассеянные светочи знаний этих истинных философов будут соединены воедино, тогда заблуждения ложной науки предстанут, думается мне, во всем своем безобразии и наготе и предохранят юные умы от ловушек, их окружающих.

Я ожидаю приказаний вашего превосходительства и подчиняюсь им благоговейно. А ныне прошу вас принять мои всенизжайшие извинения и выражение почтительнейшей преданности.

Элим Мещерский

Итак, князь Элим пользуется тем догматическим утверждением, которое Жозеф де Местр, «теолог провидения», ввел в моду во всех монархических кругах, а именно о тождестве принципов христианства с «общими законами мироздания». Но как ни отталкивается он от «философизма», он стремится к тому, чтобы придать этим христианским истинам философскую форму. Предполагая подарить русским «Р а з у м х р и с т и а н с т в а», который должен быть в то же время Р а з у м о м Р о с с и и, как таковой, он не колеблясь ищет на Западе составных элементов для «сборника монархических и христианских мыслителей» и дает «отчет о христианской философии», написанный с таким расчетом, чтобы он мог служить статьей, подготовляющей осуществление проекта. Французы, и

в особенности де Местр и Бональд, должны, по его плану, занять если не весь сборник целиком, то, во всяком случае, главное место в нем: русские, по его мнению, слишком мало знают их и должны многое воспринять от них. Эти намерения отвечают, как нельзя лучше, самым сокровенным интересам и мечтам князя Элима. Они имеют, вдобавок, еще и то преимущество, что в значительной мере совпадают со взглядами его министра. Пресловутый циркуляр 1833 г. («Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности»), программа «Журнала Министерства Народного Просвещения» и статьи в первых томах этого журнала не оставляют никакого сомнения в этом отношении. «Самодержавие, православие, народность», — князь Элим уже издавна усвоил этот тройственный девиз; как и Уваров, он не отвергает, в целях разумного обоснования этого девиза, союза с Западом, но союза, освобожденного от всех опасностей, — в нем должны принимать участие одни лишь христиане и монархисты, — он должен быть священным союзом религиозной и политической мысли. Оригинальность Мещерского заключалась в том, что в эпоху, когда умы в России были обращены в сторону немецких философов, он ожидал существенной поддержки от французов.

Эту поддержку мы находим в первых выпусках «Журнала Министерства Народного Просвещения» с 1834 по 1837 гг.; это целый ряд статей и анонимных заметок, сопоставляя которые с письмами князя Элима нельзя не прийти к заключению, что они внушены им, а иногда и прямо принадлежат его перу. А именно:

В январском выпуске 1834 г. (стр. 118—122) помещены выдержки из письма из Парижа от 19—31 октября к министру народного просвещения, по всей вероятности, принадлежащего князю Элиму<sup>153</sup>, затем несколько отчетов о французских книгах, как-то: «О преподавании философии во Франции» аббата Ботэна и «О французской литературе XIX века» Киприана де Маре.

В мартовском выпуске 1834 г. (стр. 317—377) — капитальная статья А. А. Краевского о философии Ботэна; некоторые места этой статьи имеют бесспорное сродство с отчетами князя.

В апрельских выпусках (стр. 78—92) и в июньском выпуске 1834 г. (стр. 444—483) — очерк А. А. Краевского о преобразовании народного просвещения во Франции.

В июльском выпуске 1834 г. (стр. 107—115) — заметки о постановке начального образования во Франции.

В сентябрьском выпуске 1834 г. (стр. 526—538) — отчеты о произведениях французских писателей, а именно: Ламартина («Судьбы поэзии»), Лакордера («Размышления о философской системе г. де Ламене») и Ботэна («Ответ христианина на Слова верующего»).

В октябрьском выпуске 1834 г. (стр. 150—152) — отчет об одном номере «Панорамы», где князь Мещерский упомянут среди сотрудников этого журнала.

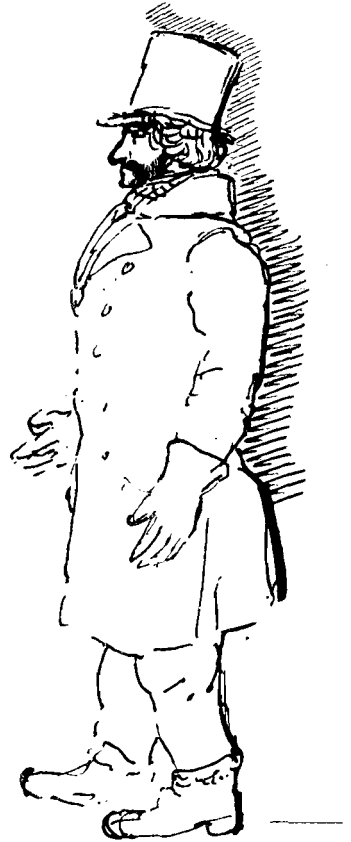
В январском выпуске 1835 г. (стр. 169—187) — ряд отчетов о французских книгах, присланных князем Элимом, в частности: о «Разуме христианства и доказательствах истинности религии, извлеченных из писаний величайших людей Франции, Англии, Германии» — труде, изданном под редакцией г. Женуда (т. I, Париж, 1834)<sup>154</sup>.

В майских выпусках 1835 г. (стр. 281—295) — отчеты, в которых аббат Ботэн и де Местр являются предметом обсуждения.

А. А. КРАЕВСКИЙ

Карикатура неизвестного художника, 1834 г.

Частное собрание, Москва



В июньском выпуске 1835 г. (стр. 550—562) — отчеты, где мы находим заметку (стр. 551) «Правда о России и о польском восстании» графа Адама Гуровского (Париж, 1834) — эта книга упоминается князем Элимом в одном из его писем (см. ниже, стр. 466).

В январском выпуске 1836 г. (стр. 231—232) — заметка, обращающая внимание читателей на журнал «La morale en action du christianisme».

В февральском выпуске 1836 г. (стр. 449—460) — несколько заметок по поводу «Примирения аббата Ботэна и его учеников со страсбургским епископом» и о «Религиозной реакции в свете суждений Сен-Марк-Жирардена».

В июльском выпуске 1836 г. (стр. 234—238) — статья, автор которой порицает безбожие Жорж Санд, улавливая, однако, в ней признаки близкого обращения.

В октябрьском выпуске 1836 г. (стр. 181—193) — статья о католическом университете.

В декабрьском выпуске 1836 г. (стр. 608—610) — заметка о прогрессе религиозности во Франции, разбитая на несколько отчетов о назидательных книгах вообще и о «Всеобщей истории христианской церкви» М. Ж. Маттера.

Дух этих статей и критических заметок мы вновь находим во вступительной речи проф. Розберга, занимавшего кафедру русского языка и литературы в Дерптском университете, речи, воспроизведенной в январском

выпуске 1838 г. (стр. 1—16), где формулирована бóльшая часть основных идей князя Элима, особенно (стр. 13) о взаимной роли Востока и Запада и о задаче примирения, выпавшей на долю России в процессе развития цивилизации.

Итак, деятельность князя Элима, как патриота и мистика, оставила след если не в кругах западников и славянофилов, то, во всяком случае, в официальном органе Уварова. В какой мере тот или другой из правых славянофилов, быть может, сам не отдавая себе отчета, черпал из этого журнала, переплавляя наполовину католические идеи в православную форму, какова была в действительности сфера влияния князя Элима,— решить трудно. Формулы, выдвинутые им, теряются в том чрезмерно упрощенном целом, каким нам представляется теперь вся эта система официального национализма. Доля его участия, а ее наличие несомненно, остается анонимной, и определить ее точно не представляется возможным. Книги и журналы, которые он присылал, встречали благосклонный прием. Его рапортами пользовались, иногда даже печатали целиком или в выдержках, но его конкретные проекты, как издание антологии христианских и монархических мыслителей, или выдача субсидий французскому журналу, посвященному русским интересам, прятались под сукно или вежливо отклонялись. Этот защитник «святой Руси» за границей всегда, видимо, представлялся Уварову и его сотрудникам, как и послу Поццо ди Борго, поэтом и идеологом неисправимо молодым и слишком склонным к фантазерству. Уже одного факта назначения в Париж Якова Толстого было бы достаточно, чтобы догадаться о недоверчивом отношении начальства к князю Элиму. Переписка князя Элима с А. А. Краевским позволит нам увидеть это отношение со всей отчетливостью и, таким образом, лучше выяснит его причины.

## X

Князь Элим отдавал себе, разумеется, отчет в том, что министр занимает слишком высокое положение и у него слишком много других забот, чтобы уделять достаточно внимания рапортам своего парижского корреспондента. Он обращается поэтому к человеку, принимавшему самое деятельное участие в редактировании «Журнала Министерства Народного Просвещения», к тому, кто, без сомнения, внимательно читал его рапорты и разумно их использовал,—к А. А. Краевскому, тогда умному и гибкому молодому чиновнику, опиравшемуся на протекцию князя В. Ф. Одоевского, который позднее стал историографом Бориса Годунова и в особенности одним из самых умелых организаторов русского журнализма—к будущему редактору-издателю «Современника», «Отечественных Записок», «Санкт-Петербургских Ведомостей», «Русского Инвалида» и «Голоса». Князь Элим надеется найти у него тот отклик, который он тщетно надеялся получить от Уварова. В следующих почтительных и комплиментарных выражениях подготавливает он себе союз с этим незнакомым, но необходимым ему союзником<sup>155</sup>:

Париж, 1/13 августа 1834 г.

Милостивый государь!

Только несколько дней тому назад получил я наш «Журнал Министерства Народного Просвещения» и поэтому не мог ранее ознакомиться со статьями, которые вы там поместили.

Разрешите, милостивый государь, принести вам самые искренние поздравления за ваш прекрасный перевод труда аббата Ботэна и за вашу статью о народном образовании во Франции<sup>156</sup>.

Хотя я не имею чести быть с вами знакомым, но я лишь себя надеждой, что вы соблаговолите благосклонно принять выражение моего восхищения и просьбу разрешить мне непосредственно сноситься с вами, с которой я беру на себя смелость к вам обратиться.

Мне неизвестна степень вашего участия в редактировании «Журнала Министерства Народного Просвещения», но я почел бы себя счастливым, если бы вы соблаговолили воспользоваться моим содействием для сведений и документов, относящихся к кругу вопросов, порученных мне во Франции и которые могли бы быть полезны лично вам или же редакции журнала министерства.

В то же время я буду вам бесконечно признателен, если вы соблаговолите разрешить мне обращаться к вам время от времени с некоторыми вопросами, касающимися научной и литературной жизни, равно как и народного просвещения в нашем отечестве.

Так как подобного рода сношения могут оказаться бесполезны для службы его величества и для ваших собственных занятий, я поздравляю себя с инициативой, мной в этом отношении проявленной, равно как и с тем, что это предоставит мне случай узнать ближе человека, посвятившего свои таланты предметам столь высокого значения.

Примите, милостивый государь, уверение в моем особом уважении.

Элим, князь Мещерский

Молодой чиновник был явно польщен этими княжескими авансами, но увидел также и ту выгоду, которую может извлечь отсюда для себя, как редактора министерского журнала. Он отвечает на эти авансы комплиментами, патриотическими декларациями, от которых не отказались бы гоголевские герои, а также рядом вопросов, полных здравого смысла и практического чутья. Его письмо было написано, по счастью, с черновиком, который нам сохранили архивы:

[Недатированный черновик]

М. Г.

Князь Елим Петрович!

Внимание, которое обратили вы на некоторые статьи мои в «Журнале Министерства Народного Просвещения», почитаю я одною из лестнейших наград, каких только могли удостоиться эти слабые начатки трудов моих на литературном поприще.

Не имея чести лично знать вас, я привык уже питать к вам душевное уважение с того самого времени, как случай доставил мне удовольствие прочесть изданную вами года за три перед сим в Ницце брошюру, где с таким благородным жаром патриота, с таким высоким достоинством поборника истины защищаете вы священную для нас Россию против недругов, хулителей ее. Я русский и по рождению, и по сердцу; по закону какой-то физической и более нравственной необходимости, с самого детства мысль и чувство мои так слились нераздельно со всем русским, что общее моей родины сделалось неотвратимо моим частным; жизнь ее сделалась моею жизнью; ее слава и позор моими собственными. Обрадованный, восхищенный вашими письмами, я тогда же перевел последнее из



них, в предисловии к нему излил все то, что породили они у меня на сердце, и отправил к одному из наших журналистов для напечатания; но тот, по каким-то расчетам и боязни, не дал ему места в своем издании, и я до сего времени должен был только чувствовать, не имея возможности каким-нибудь образом передать вам свою глубочайшую признательность. Теперь прошу вас принять искреннее мое в ней свидетельство и быть уверена, что она всегда пребудет неразлучна со мною.

Но еще живейшую благодарность ощутил я, получив от вас лестный вызов на приятнейшее для меня знакомство и переписку с вами. Не только принимаю с удовольствием этот обязательный вызов, но неотступно прошу вас как можно чаще опрашивать меня в разных сферах жизни России, сделать меня своим всегдашним корреспондентом по этой части и быть уверена, что требования такого рода никогда не могут быть неприятны: минувшая и настоящая судьба Руси и литературы ее—любимый предмет дум моих и постоянных изучений. Внести светильник философии хоть в один уголок темной храмины минувшего бытия ее; озарить искрою высшего света хоть один звук ее слова—вот высокая и далекая цель, увы, которая виднеется мне только в тумане и о достижении которой я и думать не смею. Счастливым себя почту, если какие-нибудь доставленные мною сведения об отечестве нашем помогут вам в вашем трудном, но великом подвиге: знакомить с ним не понимающих его иностранцев. Да поможет вам бог в этом прекрасном, истинно полезном для славы России предприятии, и да не ослабнет ревность ваша при встрече с вековыми предрассудками тех, которые смотрят на народ русский, как на какую-то азиатскую толпу, лишенную не только умственных, но даже и нравственных достоинств! Стоит только быть беспристрастным наблюдателем настоящего бытия русской земли, чтоб увериться в противном. Тут не нужны ни лесть, ни ложно понимаемый патриотизм. Слава богу, мы достигаем такого состояния, что можем не краснеть за самих себя, если представят нас Европе в верном изображении!

С своей стороны, считаю себя чрезвычайно обязанным за дозволение относиться прямо к вам с вопросами, решение которых было бы полезно для меня собственно и для редакции «Журнала Министерства Народного Просв.». Принимая (по самой службе своей) деятельное участие в издании этого журнала, имея на руках своих литературно-ученое отделение его и занимаясь доставлением статей по этой части, всех принадлежащих собственно редакции, я имел и буду иметь часто нужду прибегать к вам во многом, и теперь, одушевленный вашим обещанием, смело буду адресовать к вам свои требования, твердо надеясь, что вы не оставите их без удовлетворения. Что же касается до моих собственных занятий,—вы оживите и ускорите их ответами на те вопросы, которые позволите иногда делать мне о ходе наук исторических и философических во Франции. Часто не имея ни времени, ни способов прочитывать все лучшие французские периодические издания, я должен бываю оставлять многое в себе без ответа, который, может быть, и нашел бы в круге газет и журналов. Но вы живете в центре европ. образованности, вы многое слышите из того, что к нам доходит в печати; у вас под рукою все способы для справок, и при добром желании вы всегда найдете возможность оказать мне величайшее пособие. Теперь вы изъявили мне это доброе желание, и я поспешу им воспользоваться... Но до времени о своем умолчу, а попрошу вас на первый случай о том, что касается до пользы нашего журнала.

1) Вы много одолжили нас присылкою таблицы Язвинского и брошюрки, объясняющей его методу. Язвинский разделяет все преподавание на пять степеней, из коих для каждой придумывает особую таблицу, и потом каждую степень подразделяет, как видно, на несколько разрядов, для которых также должны быть особые таблицы. Мы имеем только одну со знаками; и не знаем вовсе тех, в которых употребляются..... или накладные квадраты, да и самое краткое сведение, какое можно было изъять из рапорта Сабатье и статьи самого Язвинского, может дать только некоторое понятие о методе, недостаточное для желающего ближе познакомиться с нею. Вы бы чрезвычайно обяжали нас, прислав все изданные Язвинским таблицы (если есть), книжки, с большею подробностью объясняющие его методу, дополнив все это известие о том, принимается ли она во французских казенных и частных заведениях, где именно и так ли употребляется, как назначал автор, не сделано ли каких в ней улучшений, и притом, если можно, доставить сведение о самых подробностях хода преподавания, которого, может быть, случай доводил до вас быть очевидным свидетелем. До меня дошли слухи, что метода Язвинского многим у нас нравится, и многие уже собираются составить по ней руководство для наших учебных заведений; а потому подробные о ней сведения теперь делаются нам необходимыми.

2) Что слышно о системе Ботэна? Имеет ли она какой-нибудь ход во Франции? Странно, что я ни в одном франц. журнале не видел его имени, не читал суждения о нем. Неужели божественные идеи его вовсе не пускают корней в почву, взрытую страстями неистовыми, неужели никто не слышит громоносного его голоса?..

Вы сделали нам прекрасный подарок присылкою его В е д е н и я в к у р с ф и л о с о ф и и: за него не мы одни — все читатели нашего журнала благодарят вас. Изложение системы Ботэна произвело в нас то отрадное действие, которого можно было ожидать от публики, еще юной сердцем, но зреющей умом и не знакомой с тем хладом, который сжал теперь в своих ледяных объятиях большую часть образованной Франции. Сделайте же одолжение, продолжайте дарить нас вестями обо всем, касающемся до системы, и не замедлите присылкою его Manuel de philosophie, лишь только он появится.

3) В получаемых мною нумерах Journal de l'instruction publique помещаются иногда сведения о преподавании наук в Париже; но эти сведения недостаточны. Мы бы желали иметь сколь возможно обстоятельные известия о методах преподавания разных отраслей человеческого знания в училищах разных степеней, о книгах, принятых в руководство, о программах лекций и вообще обо всех особенностях преподавания наук физ., мат., истор. и словесности. Разумеется, подобные сведения невозможно собрать вдруг и обо всей Франции; но если бы вы, снизойдя на это желание наше, ограничились на первый раз Парижем и понемногу, исподволь начали собирать материалы, нужные для подробных сведений, то премного обяжали бы нас.

В заключение слишком длинного письма моего прошу вас не лишать меня вперед доброго своего расположения и принять уверение в чувствах истинного уважения и совершенной преданности, с коими имею честь быть

в[ашего] с[иятельства]  
покор[нейший] сл[уга]

*Неоконченный постскриптум:*

Вот пока все, что мог я припомнить теперь нужного для нашей редакции, спеша писать заранее отъезда курьера, но есть еще много вопросов, с которыми позвольте обратиться в другое время. Теперь же...

Ответ Краевского попал в цель. Он попал даже дальше, чем мог ожидать этого автор. Князь Элим открыл в этом письме признаки сродства душ, залог мистической дружбы, согласной с видами провидения: «Мне кажется, нам суждено было встретиться вместе. Возлюбим друг друга в России, а Россию во Христе».

С наивным жаром взрослого ребенка исповедуется он этому незнакомому «другу», отчества и возраста которого он не знает, в тех непреложных для него религиозных и политических идеях, которыми он одержим — вплоть до идеи соединения церквей, которое он мыслит, как возвращение католиков, разочаровавшихся в папстве, в лоно православия. Он поверяет ему тайну существования той рукописной работы, которая так дорога его сердцу, с которой он знакомил уже Бадера, Ботэна и Уварова. Он предостерегает его против Ламене и Мишле, он доставляет ему вперемежку всевозможные сведения об общественных настроениях во Франции, — словом, он открывается ему, как другу и брату. Официальные отношения в бюрократическом стиле были бы для него тяжелым бременем: ему нужна беседа сердца с сердцем, и притом в романтическом ритме:

Париж, 4/16 октября 1834 г.

Милостивый государь

Андрей . . . . . ич,

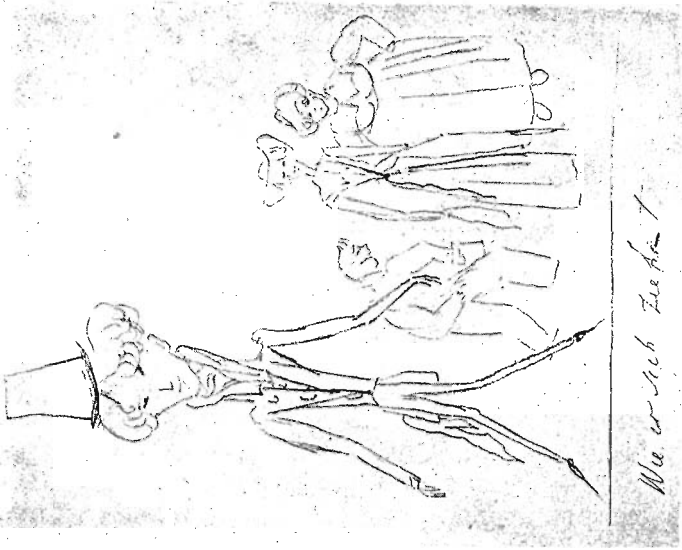
Письмо ваше тронуло меня до слез. Не нахожу слов выразить вам моей радости и благодарности. Пишу к вам по-русски, хотя уже десять лет как мне не пришлось начертить строчки на нашем любезном отечественном языке.

Будьте снисходительны к моему иностранному слогу. Язык мой о б у с у р м а н и л с я, но сердце осталось русским и православным.

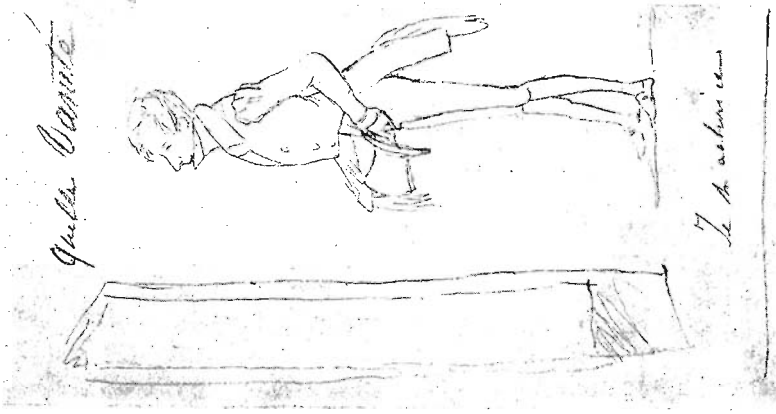
Так, любезнейший Андрей . . . . . ич (не забудьте сказать мне, как вас величают), мы понимаем друг друга. Мы давно находимся в тесной умственной связи, мы, как бы сказать, давно знаем один другого, ибо я люблю, что вы любите, верую, во что вы веруете, восхищаюсь, чем вы восхищаетесь.

Я горжусь вашим одобрением, — и теперь только ставлю во что-нибудь труды мои, ибо они мне дали способ сблизиться с вами. С этой поры я вам открою мою душу, я вам поверю все мои мысли, желания, надежды на счет возлюбленного нашего отечества. Я как-то имею предчувствие, что моя искренность вам будет приятна, что изложение моих идей вам покажется порывом души пламенной, а не затеями какой-нибудь умственной кичливости. Для начала наших дружеских сношений, столь для меня лестных, я познакомлю вас немного с моею личностью.

Четыре года тому назад я в первый раз услышал, что есть на свете ф и л о с о ф и я х р и с т и а н с к а я. Молодой германец, учившийся в Мюнхене, где находятся теперь славнейшие поборники христианства в сфере наук, открыл мне путь истины. С того времени я сделался жарким патриотом, ибо тогда только я постиг величие России, тогда только я п о н я л е е. Завеса спала с глаз моих, и Россия представилась мне с в я т и л и щ е м и с т и н н о г о п р о с в е щ е н и я, а остальная Европа, в осо-

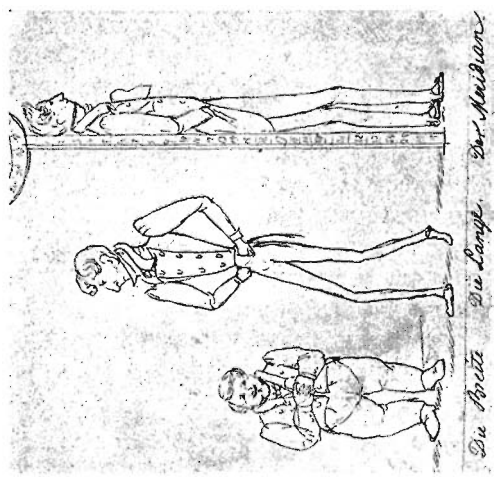


*Миссис Миссис Фредерик*



*Генри Ванте*

*Генри Ванте*



*Доктор Ванте Доктор Ванте Доктор Ванте*

ЮНОШЕСКИЕ РИСУНКИ ЭЛИМА МЕЩЕРСКОГО  
Институт литературы Академии наук СССР, Ленинград

бенности же Франция, вертепом просвещения ложного, фокусом света не освещающего, но палящего. Видя, что основание философии на началах откровения и принорвление всех наук к сему основанию, возрождение оных духом христианства стало необходимостью нашего времени, условием *sine qua non* существования человечества, я уверился, что Россия предназначена провидением быть, так сказать, рычагом, коим наука поднимается к небу, светильником, коим озарится Европа светом науки христианской. Сии мысли стали моею душевною пищею, распространение оных—целью моей жизни. Я написал в 1831 г. малую книгу под заглавием *Aperçu de la réaction philosophique qui se manifeste en Europe en faveur du Christianisme* и вметил в нее сии предчувствия, толпящиеся во мне, почти мучившие меня<sup>157</sup>. Она осталась в рукописи, ибо сие творение не зрело; мне было тогда 22 года отроду. Но по сих пор я не отрекся ни от одной из моих тогдашних идей, напротив того, я ежедневно укрепляюсь в моем убеждении. Брошюра моя, которую вы читали, содержит только намеки касательно моего умственного направления и видов моих о России.

Мне кажется, что мы, русские, должны глубоко увериться в великом предназначении нашего отечества. Так, как христианин старается жить благо на земли для достижения блаженства будущей жизни, подобным образом русские должны иметь в виду будущие времена России, дабы упрочить настоящее ее благосостояние. Цель сия—просвещение христианское, долженствующее вдохнуть жизнь новую человечеству вообще; способ—учение русское, *национальное*, коим, в частности, основывается благоденствие России.

Журнал министерства может быть первым, главнейшим способом к сему великому делу. Вы особенно, по вашей части, кажетесь мне богом призванным, дабы служить орудием к направлению вашего журнала в духе философии христианской.

Мы должны опасаться всего более рационализма немецкого, французского, английского. Я имел случай заметить, что он глубоко проник нашу ученую сферу; и немудрено: он по сих пор один господствовал в науке европейской. Но теперь в Германии Шеллинг окрестился. Бадер, маститый философ откровения, передал дух свой многим ученикам с великими способностями. В сем же духе Гёррес преподает науки политические, Шуберт и Стефенс учат наукам естественным. Франция имеет Ботэна и Бональда, Англия Лингарда и других. Одним словом, нам надобно освободиться от влияния протестантского учения и перенимать учение католиков.

Католицизм без папизма—наша вера, а папизм уже не опасен в нынешнее время. Некоторые ревностные католические ученые даже из духовенства во Франции, и Бадер, между прочим, в Германии, не веруют уже в папу. Что же остается? Наша вера, и слава богу. Будет время—различные вероисповедания сольются и возвратятся к первоначальной церкви, а путь к сему приготавливается наукою, в которой начинает возрождаться православие. Итак, самые высшие поясы ума человеческого опускаются—или, лучше сказать, *возвышаю тся\** к понятиям и чувствам всенародным

\* Читали ли вы книгу 8-ю Р а д у г и 1833? В статье «Судьба России» я нашел все мои идеи, как бы мною самим писанные.

в России, — спекуляция разума выпренного сливается с русским народным чувством!!! Ей-ей, пора науке русской одеться в кафтан и отпустить бороду.

Вы можете судить, по сим моим мнениям, о радости, с которою я вижу ход теперешний просвещения в нашем отечестве. Дай бог здравствовать царю и нашему истинно просвещенному начальнику! Дайте мне, пожалуйста, знать, в каких сношениях вы находитесь с г. министром. Если он вам доступен, то прошу вас просмотреть мои прошлые экспедиции. В моих *Notices bibliographiques* находятся отчеты многим преполезным книгам в направлении христианства, о которых по сих пор журнал ваш не упомянул. Также стоит вашего внимания мой рапорт под № 16 мая месяца о х р и с т и а н с к о й ф и л о с о ф и и; я особенно позволю себе вам рекомендовать мою нынешнюю экспедицию. Книга Бональда о политике столь же важное явление, как философические творения Ботэна. Мой разбор профессоров парижских обнаруживает опасные их учения и, между прочим, философию Мишеля. Я заклинаю вас принимать с большою осторожностью в вашем журнале похвальные статьи сим лицам и вообще статьи ученые из *Journal général de l'instruction publique*.

Учение сего журнала поверхностно и отзывается рационализмом.

*Annales de philosophie chrétienne*, *Revue européenne* (по части философической, ибо политические мнения сего журнала неосновательны) могут служить вам весьма богатым источником; там вы увидите многое о Ботэне. Министр получает от меня сии журналы. Прошу вас еще убедительно для пользы журнала и вашей собственной читать творения *Joseph de Meistra*, Ламене (только первый его увраж *De l'indifférence en matière de religion* и даже довольно первого тома), Лоранси (*Origine des connaissances Humaines*, сколько помнится), Бональда, аббата Жербе (*Dogme générateur de la piété catholique*), книгу аббата Лакордера против Ламене (книга сия прислана министру). Рекомендую сии журналы и творения всем вашим друзьям и оценщикам Ботэна. Я не говорю вам о новых немецких философах, не зная, известен ли вам немецкий язык.

Покорнейше вас благодарю за ваши инструкции касательно мною присылаемых известий из Франции. Вы удостоверитесь, читая мой отчет министру годовым трудам, писанный до получения вашего письма, что я намерен впредь заняться всеми пунктами, вами мне означенными. Я доставил прошедшим курьером все, что вышло в свет по сию пору относительно к язвинской методе.

Позвольте мне попросить вас о доставлении пропорции между лицами обучающимися и общим народонаселением в России, т. е. как 1 лицо относится к 10? В вашем журнале говорится только о числе учащихся в ведомстве министерства вашего.

Вы бы очень обрадовали отца моего, князя Петра Сергеевича, вашим знакомством. Если вы желаете читать мою рукопись *Aperçu de la réaction etc.*, то он вам вручит ее. Прошу вас также сообщить ему сие письмо и велеть доставить мне копию оною. Я намарал в скорости сии строки перед отправлением курьера. Ежели вам возможно в непродолжительном времени о с ч а с т л и в и т ь меня ответом (употребляю это слово не простою поговоркою), то пишите по почте.

Извините мою искренность, мое радушие. Вы видите, я открываюсь вам, как другу и брату, надеясь на сродство душ наших. Мне многое, многое остается вам сказать: мой ум просится к вам, и, если я на сей раз

закрываю нашу беседу, то это потому только, что я щажу ваше терпение. Я, с моей стороны, буду принимать с живейшею благодарностью ваши советы и сообщения. Помогая, поддерживая друг друга на трудном пути, ведущем к одной цели, нам легче будет приблизиться к оной. Мне кажется, нам суждено было встретиться вместе. Возлюбим друг друга в России, а Россию во Христе.

Вам душевно преданный

Элим Мещерский

Каких вы лет?

Возможно, что тон этого письма привел в замешательство того, кому оно было адресовано; чрезмерный пыл и экспансивная чувствительность должны были смутить человека положительного и сдержанного. Факт тот, что Краевский не спешил с ответом. Зато сам он получил от князя Элима второе, еще более настойчивое письмо, которое он, предварительно сняв с него копию, без сомнения, сообщил министру. На этот раз письмо имело вполне определенную цель: это просьба о субсидии для основания французского журнала, преданного русским интересам. А чтобы убедить богатых купцов последовать примеру Минина, автор присовокупил к своей просьбе несколько увещаний в стиле Замоскворечья и будущего «союза русского народа», в которых странным образом «святая Русь» сочетается со «святой троицей» и где он, в свою очередь, повторяет данную французскому народу квалификацию «полуобезьяны и полутигра». Краевский решает ответить, обозначив дату своего ответа на копии, снятой им с письма князя и положенной в архив на место оригинала.

Получ. 14 ноября.

Отосл. 24 ноября.

Париж,  $\frac{26 \text{ октября}}{7 \text{ ноября}}$  1834 г.

Милостивый государь

Андрей . . . . . ич,

Я еще не получил от вас ответа на последнее письмо мое, а опять пишу к вам в уверенности, что вы примете с дружбою сей новый мой отзыв.

Я должен сообщить вам весть добрую о деле важном, о деле русском и европейском, готовящемся в Париже, и приглашаю вас в сотрудники, надеясь на вашу помощь. Вот о чем речь идет.

Уже давно лучшие умы в Германии и Франции желали учредить в Париже журнал философический и литературный для распространения спасительных начал политических, для защиты христианства в науке и для исследования хода мыслей во всех образованных частях света. Журнал, исполняющий вполне таковые условия, еще не существует, ибо дух партий во Франции сему препятствует. Потому никакой журнал, даже принадлежащий легитимистам, не смел стать за Россию, не мог говорить о ней свободно. Впрочем, никто о ней во Франции словечка не знает.

Друзья мои здешние, под моим руководством, основывают сей давно желанный и необходимый журнал.

Прилагаю prospectus сего творения.

Мои и друзей моих сношения с важнейшими мужьями Европы позволяют нам надеяться на сотрудничество Ансильона, Стефенса, Савиньи, Шеллинга, Бадера, Шуберта, Гёрреса и пр. в Германии; Ботэна, Бональда, Лоранси, Екштейна, Балланша и проч. во Франции и многих философов и писателей благомыслящих в других государствах европейских и даже в Новом свете.

Но на сей великий подвиг нужны деньги. Уже некоторые капиталы собраны; но они по сих пор недостаточны для составления акций и обеспечения успеха сего предприятия.

Ради бога, ради России уведомьте о сем некоторых образованных особ из нашего купечества,—попросите их о денежном вспомоществовании. Да будут они новыми Миниными. Да положат они свое золото для защиты святой Руси от нехристей, от умственных врагов ее! И мы вонзим знамя русское среди стана супостатов! И мы прославим бога русских пред лицом хулителей Христа. Мы покажем омраченному миру лучезарное чело белого царя. Мы воздвигнем в поле умственном всенародный храм богу трехличному.

Первая статья первого номера сего журнала будет ответом аббату Ламене, к несчастью, знаменитейшему теперешнему писателю Франции, который поместил в *Revue des deux Mondes* самую иступленную статью против царей вообще, а особенно против нашего государя.

Ужель, когда поляки имеют свои журналы в Париже для распространения лжи и крамол, мы, русские, останемся назади и не станем представителями истины и спасительных начал?

Я вам когда-нибудь разовью обстоятельно, сколь важно и полезно для успехов наук философских и политических в Европе основательное познание славянской и греко-российской стихии. Многие глубокомыслящие мужья в Германии и Франции имеют уже сие мнение. Таковая реакция будет иметь и на нас, русских, скоро ли, рано ли, благотворное действие и спасет нашу молодежь от глупого пристрастия к чужеземному, а особенно к французам, сему пустому народу, которого некий писатель назвал справедливо полуобезьяной, полутигром! Но, слава богу, есть изъятие, и есть французы, с которыми мы можем и должны вступить в союз.

Мое имя, разумеется, не покажется в журнале, я просто буду подписываться: *un russe*. Я буду давать ему направление умственное; но я ни в чем не участвую в денежных распоряжениях. Однакож, я ручаюсь за честность и расчетливость предпринимателей: они мне давнейшие друзья. Если журнал не состоится, то капиталы будут возвращены пожертвовавшим. Они будут сохраняться законным образом у публичного нотариуса.

Итак, я вас заклинаю собрать всеми силами и в скорейшем времени сколь возможно денег. Очень бы важно было, если первый наш номер мог выйти в будущем генваре; и сие случится непременно, если вы доставите нам кое-что от нынешняго срока через 6 недель. Представьте, что с 15-тью тысячами франков журнал будет в состоянии содержаться без опасения ш е с т ь месяцев и щедро платить лучшим здешним писателям. С капиталом 40 тысячей фр. журнал будет основан надолго, а так как основатели—мои друзья, то журнал перенесется, когда угодно будет нашему правительству, или в случае революции, в Петербург, но покамест весьма полезно, чтобы он состоял в Париже.

Доложите о сем предприятии г. министру. Я отправил об оном рапорт с первым курьером.

Вы можете прислать векселя на мое имя по почте: *rue St. Florentin, 5, à Paris*.

Вы получите с курьером перевод моей первой лекции Погодина, уже помещенный в *Journal général de l'instruction publique*. Ваш журнал и ваше сообщение будут для нас богатыми источниками.

Я постараюсь в моем ответе Ламене доказать, что основание России



именно среднее, как говорил Погодин. Великая идея! Посему-то Россия уже посредник в мире политическом, и ей кой-когда суждено быть посредником в мире умственном. Она занимает средину на полушарии, а средина сферы—центр. Я приведу в доказательство журнал министра, где именно средоточиваются лучи всемирного просвещения.

Помолитесь за меня, грешного, не достойного дотрогиваться до таких высоких мыслей. Авань, господь не оставит меня. Да поможет бог и вам. Я надеюсь на вас более, чем на самого себя.

Вам душевно преданный  
К. Элим Мещерский

Потрудитесь перевести prospectus или переделайте его понятным образом для не ученых.

Возможно, что Краевский был сначала в замешательстве и не знал, как реагировать на такой энтузиазм и на такое красноречие. Но он выпутался из затруднения самым искусным образом. Он не мог сразу спустить с небес на землю друга, брата, объявившего себя его союзником в борьбе за благое дело. И вот он храбро принимает всю эту романтическую фикцию. В своем ответе он придерживается того высокого стиля, который нравится его корреспонденту. Он многословно распространяется в его духе о христианстве и патриотической вере, он скрепляет священный союз двух молодых людей и одновременно признается в своем отчестве и в том, что ему исполнилось уже 25 весен. Но наряду с этим он вставляет, любезно, но с большой настойчивостью, несколько здравых замечаний: он напоминает о высокомерии западных людей по отношению к русским и сравнивает недоверие к ним с недоверием римлян к словам Тацита о германцах. Он напоминает о силе третьего сословия во Франции и об уважении к парламенту. Он подсмеивается над равнодушием русских купцов к журналам; он мягко вразумляет князя и не оставляет ему, несмотря на все предпринятые хлопоты, никакой надежды на успех проекта.

М. Г.

СПБ, <sup>24 ноября</sup><sub>6 декабря</sub> 1834 г.

Князь Елим Петрович \*

Доброта, откровенность, дружба ваша восхищают меня. Получил второе милое, прелестное письмо ваше; я носился с ним, как с сокровищем, лучшим приобретением, какое только мог сделать в жизни, читал, перечитывал по несколько раз и за каждым словом обнимал вас в душе своей. Да, мы родные; мы встречались где-то, и встречались дружелюбно, приветствовали друг друга; мне знаком строй души вашей, мне ведом, соприсущен этот пыл юного, горячего сердца, мне ясен наклон вашего образа мыслей, мы родные; мы дети одной матери—святой Руси. Да будет же благословенна самим богом эта встреча братьев и да укрепляется союз их с каждым днем более и более.

Нетерпеливо желал я при первом же случае отвечать на второе письмо ваше, но прежде хотел видетсья и познакомиться с почтенным вашим батюшкою; прошло два дня, как вдруг сильный припадок геморроя, которым я страдаю около трех лет, посадил меня дома и лишил возможности

\* Кстати: отчество—Александрович, доживаю теперь на белом свете 25-й год.

Храбровский. Москва 13 декабря 1834

Милостивый Родитель,  
Австрия

Ваша упрямость времени мною  
иной - милостивый Родитель! Не  
милостивый Родитель! Не  
только не милостивый Родитель!  
ком родитель

Принимая во внимание  
Павел - Эвонгелист - Журнал  
описанием и в самом журнале  
желание Павла убогого  
и в предположении в самом  
содержании

Компанию мое скандинав  
Вильгельму о нем о нем  
взвешивая впрочем свободными  
На убогого Павла Родитель

Во имя моего Родителя  
иной восторженнейший мой  
в 1834 году. Журналист и др.  
Милостивый Родитель  
и журналы восторженнейший  
во имя моего Родителя  
Милостивый Родитель

Эвонгелист

не только выходить из комнаты, но даже читать, еще менее писать что-нибудь, потом взволнованная геморроем кровь привела было меня к горячке, и я три недели не вставал с болезненного одра своего. При исходе болезни получаю третье письмо ваше; через два дня мне позволено было выйти, и я начал хлопоты... Но прежде о самом предмете хлопот.

Первое чувство, возбужденное во мне последним вашим письмом, было благодарность, чистая, глубокая благодарность за великое предприятие. Создать периодическое издание, которое было бы светильником в мрачную ночь безверия и рационализма; изливать целебный елей истин религиозных, философских и политических на язвы больного человечества — подвиг, достойный обожания. В этом же издании, как по преимуществу посвященном и с т и н е о России — то, что действительно представляет она взорам беспристрастных, — дело, достойное всей признательности и всякого поощрения со стороны русских...

Так рассуждал я между собою, и тут же произнес обет — быть вашим деятельным, неизменным сотрудником. Однакож, как другу, как брату, которому обязан я откровенностью, должен сказать, что при этом размышлении возникли в голове моей два вопроса, два н о, которые заставили меня крепко призадуматься. Вот они. Можно ли, думал я, французов и других ожесточенных хулителей Христа обратить на путь истины убеждениями здравой философии, когда всякая книжонка иступленного Ламене производит энтузиазм, читается во всех углах и покоряет себе удивление? Успехи Ламене могут быть объяснены только тем, что читающая его публика заранее образована была по философии, которой новым жрецом-факиром в наше время Ламене и которая, может быть, составляет дух века, что идеи его до него еще глубоко внедрились в сердца, а он явился только во-время и своими разглагольствованиями развивает эти идеи, теша, разумеется, этим поклонников их, которые и читают его нарасхват. Чтоб сломить вековой кедр, надобна сила многих и время; чтоб вырвать идеи, веками укоренившиеся, нужны века же, которые могут насадить и возрастить новые семена, обратив питательные соки почвы на благотворное прозябание и тем лишив пищи плевелы. Здесь, кажется, более надобно предоставить времени, чем силам людей отдельных. «L'organe des deux Mondes» теперь еще будет иметь очень-очень мало товарищей в своем великом деле; а голос одного — голос слабый: он легко заглушится шумом и криком ожесточения. Вот почему я думаю, что вы не найдете себе читателей во Франции, или найдете их очень мало, да и то между стариками, а не между молодежью, для которой преимущественно трудиться должно. Я не хочу этим сказать, что орган не должен быть издаваем; напротив: он необходимо должен издаваться, во всяком случае, никогда не начинавши итти к цели, никогда и не достигнем ее; потом же и ч т о-н и б у д ь в благом деле всегда лучше, чем н и ч е г о, а орган, при таком благонамеренном и просвещенном редакторе, будет гораздо более ч е г о-н и б у д ь; только не надобно м н о г о г о н а д е я т ь с я: почитайте его орудием сильным и пускайте из него выстрелы, сколько у вас найдется их; но не горюйте, если встретите более тел твердых, от которых отскочит заряд, чем мягких, в которые мог бы он врезаться. Приготовьтесь переносить равнодушно, если иная, и, может быть, самая наставительная мысль, пущенная вами, пролетит по воздуху, никого не встретив на пути, никого не тронув. Другой вопрос о России. Мне кажется, в органе не надобно хвалить ни добродушия нашего, ни нашего образа правления, ни семейных нравов,

ни умственного направления: вам не поверят ваши читатели; они давно уже слышали это и давно над этим смеются, почитая это делом партии или подкупа; а где смех, там нет убеждения. Западные европейцы составили себе свою систему мыслей и политической жизни, свой идеал народного благоденствия и вне этого идеала считают все вредным, глупым, невежественным; просто, в представлении их Европа — однобокая, одно-сторонняя; они не понимают другого, восточного бока ее, не знают славянского элемента. Для француза не существует порядок общественный без камер, без конституции, без *t i e r s - é t a t*; он ни за что не поверит вам, что может на свете существовать просвещенное неогранич. монархич. правление, где монарх — отец, а подданные — дети, безусловно повинующиеся отцу своему и не помышляющие о революциях, без которых французу жизнь не в жизнь; он не поверит, говорю, потому, что этот мирный образ существования не в крови его, не в германском элементе, 13 веков господствующем на Западе Европы, а в славянском, которого представителями мы — русские. Отделенная всегда от Запада и языком и верою и политическим бытом, Россия не прикасалась к нему ни в одной точке, сама-собою росла, утверждалась, крепла и теперь развивается духом не по годам, а по часам, доказывая тем, что ей очень хорошо жить в той форме, в которой живет теперь. А француз этому засмеется, ему покажется это самой нелепой выдумкой. Да и напрасный труд уверять его: он не убедится — до времени: римляне не хотели верить ничему, что Тацит рассказывал им о германцах, ибо все это не согласовалось с римскою формою жизни; они и не верили до тех пор, пока германцы не вышли из лесов своих и не сели на развалинах Рима. То же будет и с Россиею: со временем вдруг предстанет она изумленной Европе могучею, просвещенною, ученою, в своей оригинальной форме, оказывающею повсюду духовную власть примера и превосходства; тогда Европа пустится изучать Россию, познакомится с ее историею и сознается, что, кроме тевтонского мира, есть другой мир, что, кроме их политических систем, есть другие системы, при которых люди действительно могут блаженствовать, и то, что француз считает теперь нелепостью, ложью, будет для него тогда истиною, ясною, как свет духовный. А до того времени — что ни говорите — все напрасно, никто вам не поверит, ибо никто не имеет основание в суждении о России. Будем стараться все посильными трудами своими делать для священной родины нашей елико возможно больше, чтоб дать ей ход быстрейший побед умственного образования, а что болтают иностранцы о ней — до этого и дела нет: пусть их лают на ветер; их же горлу наклад. Для журнала же вашего лучшим делом казалось бы простое изложение фактов исторических и статистических о России, фактов неопровержимых, основывающихся на достоверных известиях. Тут же разумею я и опровержение вздорных известий (а не суждений) их о России — такоже фактами. Но, пожалуйста, не хвалите ее, не выпрашивайте ей славы, не унижайте этим себя, как достойный представитель отечества своего, перед скоморохами, которым не понять, что значит святая Русь.

Вот, мой милый, добрый Елим Петрович, что надумал я, размышляя о вашем предприятии. *Quot capita, tot sensus*. Может быть, я заблуждаюсь, но откровенность требовала высказать все на-чистую. Впрочем, опять повторяю, я, во всяком случае, ваш сотрудник, всегдашний, бес-сменный.

Теперь вы слушайте отчет в моих хлопотах.

Прежде всего отправился я к министру\*. Он принял участие в благонамеренном вашем деле и велел извиниться перед вами, что за множеством занятий сам не может писать к вам о вашем предприятии и, говоря о том - о сем касательно журнала, выронил несколько слов, обнаруживших, что его образ мыслей несколько сходен с моею думою об органе, хотя я сам ничего об этом не говорил ему; да и вообще вам только одним поверяю я все, что пришло мне в голову; впрочем же повсюду ограничивался только одною просьбою о содействии, о вспомоществовании, не вступая ни в какие рассуждения, чтобы ими не расхолодить порыва, могущего возникнуть в душах благородных.

С неделю тому назад был я у князя Петра Сергеевича, получил от него ваш *A r e g ç u*, о котором скажу в другое время, отдал второе ваше письмо для снятия с него копии и указал ему на князя Алекс. Никол. Голицына, могущего подать значительную помощь вашему предприятию: он обещал переговорить с ним, потом отдал программу и объяснил дело графу Серг. Григор. Строганову, великодушному и просвещенному русскому меценату; он хотел предложить об этом своим знакомым; а знакомство его: двор и высший круг здешнего общества; если можно чего-нибудь надеяться, то от него. Далее отдал программы князю Вл. Федор. Одоевскому, который через своих знакомых хотел просить Павла Ник. Демидова и других. Он надоумил меня: теперь в Париже молодой кн. Волконский Григорий, который коротко знаком с Анатолием Никол. Демидовым; попросите-ка его вступить в это дело. Еще просил я содействовать о р г а н у одну из почтеннейших здешних дам, которая обещала собирать подписку. Кроме того, обещала мне доступ к 2 почетным здесь лицам, именно для сего дела. Завтра пишу в Москву к Погодину и другим своим знакомым, пошлю им программы и буду просить их участия. Вот все, что до сих пор успел я сделать. Во всем этом мало еще утвердительного. Но как же быть? Напрасно вы так поздно дали нам знать о своем намерении: в такое короткое время ничего нельзя успеть; однако, будем надеяться, хоть трудно, но что-нибудь да сделается же; а вы, если уже имеете какие-нибудь способы, начинайте благое дело, авось, бог поможет. До сих пор еще я ни от кого не получал ответа и решился писать для того только, чтобы не оставлять вас долго в неизвестности. Я не хотел придавать этому делу слишком большой гласности, не печатал известия в наших газетах; ибо, если из печати узнают иностранцы о денежном сборе в России, тотчас окружают чистое, святое дело ваше сатанинским хохотом, называя вас и сотрудников ваших орудиями, настроенными, подкупленными нашим правительством. На что давать врагам веселиться?.. Лучше это дело сделается тихомолком (если сделается). Да и к чему бы послужил мой печатный вызов? Если не поможет высший круг нашего общества, то никто не поможет; ибо тут только могут п о н я т ь и п о д д е р ж а т ь благое литературное предприятие; из остальных же читателей многие поймут, да дать ничего не в силах; прочие же с деньгами, да не поймут дела. К послед-

---

\* Вы спрашивали, доступен ли мне министр. По большей части нет: я только помощник редактора, а докладывает по делам журнала, испрашивает разрешения и объясняется с министром всегда редактор, у которого, как говорил я вам, на руках часть официальная, хозяйственная, журнальная и проч. и который старше меня и летами, и чином, и службою по министерству, да притом же сам был некогда старшим цензором, а потому и поставлен во главу редакции. Фамилия его — Сербинович, он просил меня изъявить вам чувствительнейшую благодарность за все бесценные ваши труды для нас.

нему разряду причитаю я и наше купечество: скажите русскому купцу, что иностранцы обижают Россию, ругаются над святынею, он закричит: «подавай их сюда; и кулаки, и деньги на штыки готовы!..». А журнал!!! для него орудие непонятное, он не увидит в нем никакой пользы и, следовательно, не даст денег. Наше купечество теперь только что выучилось грамоте, чтобы читать библию и иногда газеты: литература же ему еще вовсе незнакома.

До земли кланяюсь вам за прекрасные известия, помещенные в разных рапортах ваших к министру. Я все получил их, — но, к сожалению, многие, залежавшись, устарели для журнала министерства. Озабоченный бесчисленными делами редактор забывает передавать их в редакцию, и они лежат без движения; сведения же о том, когда получает он присылы из Парижа, почти никто не имеет. Однако, теперь уж этого не будет; каждый месяц мы станем спрашивать его, нет ли чего-нибудь от вас. Вы же, с своей стороны, сделайте одолжение, уведомляйте меня каждый раз, когда пошлете ему что-нибудь замечательное. Да еще: если будете присылать статьи библиографические, выставляйте при титуле книги год ее издания, это нужно для точности журнальной. Вчера получил я от министра книгу Бональда и два рапорта ваши, в дополнение к тем, которые уже у меня теперь: *De la philosophie chrétienne* и о профессорах парижских; я успел прочесть только последний и прочел с большим удовольствием, особенно свод фанфаронад Мишеля и Лерминье. Не знаю, позволит ли министр напечатать его в журнале, а желательно бы было; на-днях предложу.

Напишите мне что-нибудь о предприятии Дюкеннеля — писать курс словесности; он поместил в XXXII № *Revue européenne* статью *Philosophie de la littérature*; направление его мне нравится; издает ли он что-нибудь отдельно и надежный ли это человек?

Сделайте одолжение, извещайте нас, и сколько можно больше, о движении немецкой философии и литературы, указывая, разумеется, преимущественно на то, что наиболее сообразно с нашим направлением. Кстати: мне сказывал один русский путник, недавно возвратившийся из Германии, о лекциях Шеллинга (нового Шеллинга, окрестившегося); от них что-то припахивает аббатом Ламене, а не христ. философией; этот путник — человек ученый и, кажется, не мог бы обмануться.

Что система Жакото: в движении у французов или уж прошла, как мода? Присылки ваши, относящиеся до метода Язвинского, у министра; я еще не видел их, но, вероятно, скоро увижу. Болезнь замедлила на время ход всех трудов моих.

Не могу еще сказать вам об отношении числа учащих к неучащимся в России: у министерства народного просвещения под ведением только половина всех учебных заведений; прочие же находятся в ведомствах духовном, военном и проч.; мы давно уже собираем справки и к началу будущего года, я думаю, приведем в возможность составить пропорцию.

Слышали ли вы о предпринимаемом у нас издании Энциклопедического лексикона? Дело великое. Он будет иметь характер чисто русский и назначается исключительно для русских. Иностранные энциклопедии допустятся в него не иначе, как полежав на прокрустовом ложе, изготовляемом единомудушным направлением сотрудников.

Дошли ли до вас еще слухи о книге священника Сидонского: *Введение в науку философии*? Это оригинальное, замечательное

явление. Если вы его не читали, я вам пришлю ее. Сидонский недавно перевел и издал еще «Психическую антропологию» Шульца. Он человек во всех отношениях достойный уважения: один начавший писать у нас книги по части философии. Замечательно и то, что священник, духовная особа, а не светская, у нас провозвестником истин философских.

Прощайте, добрый, милый друг Елим Петрович; замучил я вас письмом моим. Что делать, от избытка сердца уста глаголют. Как только узнаю что о ходе нашего дела, тотчас извещу. Навещайте и вы меня своими письмами. Прощайте, целует вас

преданный вам всею душою

А. Краевский

Р. S. Академик Остроградский просил меня переслать письмо к парижскому академику Навье.

Прошло несколько дней. Ответ Краевского еще не дошел до Парижа. Князь Элим теряет терпение и 1/13 декабря снова пишет краткое напоминание Краевскому, представляя в то же время непосредственно самому министру свой проект основания нового журнала «L'Organe des deux Mondes» (Орган двух миров), посвященного русским интересам.

Париж, 1/13 декабря 1834 г.

Милостивый государь

Андрей . . . . .

Вот уже третье письмо мое — и по сих пор вы меня еще не обрадовали ответом на мое первое предлинное п о с л а н и е.

Препровождаю ныне к вам prospectus журнала, о котором я вам говорил, заклиная вас удостоить сие предприятие вашим содействием...

Нынешняя моя экспедиция к министру очень богата разными важными сведениями. Вы увидите, как попы католические нападают на бедного Ботэна.

Язвинский составляет карты для истории российской по руководству Карамзина. С будущим курьером я вам препровожу оные и доставлю, надеюсь, сведения о различных методах преподавания.

Прилагаю при сем весьма примечательную брошюру Гуровского о России. Поляк образумился и весьма глубоко проник истину о России. Вы увидите, что во многих пунктах мы встречаемся точь в точь, Гуровский и я.

Не забывайте меня и примите уверение в душевной моей к вам преданности.

Э. Мещерский

Письмо к министру носит совершенно официальный характер. Князь Элим, следуя канцелярским навыкам, собственноручно поместил в нем содержание на полях: «О новом журнале, основываемом во Франции в русских интересах». Мы узнаем из этого документа, что новый журнал должен составить оппозицию «Revue des deux Mondes», название которого он, без сомнения, перенял намеренно. Этот журнал должен продолжать дело, с которым не справилась «Panorama littéraire»<sup>158</sup>, и взять у «Correspondant», преобразовавшегося в «Revue européenne», его лучших сотрудников. Инициатива проекта исходит, повидимому, от князя Элима и его друга Сен-Феликса. Этот последний должен стать главным редактором;

**МИНИСТЕРСТВО**

НАРОДНАГО ПРОСВЕЩЕНІЯ

ВЪ САНКТА-ПЕТЕРБУРГѢ

Мартъ 1835 года

№ 308.

Министръ Народнаго Просвѣщенія

Графъ Александръ Бундуринъ

Я, ниже подписавшійся

подписавшійся Государственный

Секретарь Императорскаго Вѣ-

домства въ Санктпетербургѣ

Вашему Высочайшему повелѣ-

нію исполняю съ удовольствіемъ

Вашими новыми распоряженіями

о томъ, что съ нынѣшняго

числа изданы въ Санктпетербургѣ

Ваше Высочайшее повелѣніе

о томъ, что съ нынѣшняго

числа изданы въ Санктпетербургѣ

Ваше Высочайшее повелѣніе

о томъ, что съ нынѣшняго

числа изданы въ Санктпетербургѣ

Ваше Высочайшее повелѣніе

о томъ, что съ нынѣшняго

Въ Санктпетербургѣ

Бундуринъ

своимъ распоряженіемъ былъ посланъ въ Парижъ

Министръ Народнаго Просвѣщенія

статсъ-секретарь Императорскаго Вѣ-

домства въ Санктпетербургѣ

Министръ Народнаго Просвѣщенія

и, согласно съ указомъ Императора

въ Парижѣ, къ Высочайшему повелѣнію

о томъ, что съ нынѣшняго

числа изданы въ Санктпетербургѣ

Ваше Высочайшее повелѣніе

о томъ, что съ нынѣшняго

числа изданы въ Санктпетербургѣ

Ваше Высочайшее повелѣніе

о томъ, что съ нынѣшняго

числа изданы въ Санктпетербургѣ

Ваше Высочайшее повелѣніе

А. Х. БЕНКЕНДОРФУ ОТ 7 МАРТА 1835 Г. ПО ПОВОДУ ПРЕДЛОЖЕНІЯ ЭЛИМА МЕШЕРСКАГО  
ИЗДАВАТЬ ВО ФРАНЦІИ ЖУРНАЛ

Слева — помета Дубельта

Архив революціи, Москва



вокруг него сплотятся его друзья, являющиеся в то же время друзьями князя. Князь Элим за кулисами сохранит за собой верховное руководство предприятием. Ему удалось договориться с близкими ему легитимистами относительно политических формулировок, фигурирующих в проспекте и которые он по-своему резюмирует следующим образом для министра: «Журнал в интересах России и христианской философии, освобожденной от всего специально-католического» (эти последние слова подчеркнуты в оригинале)<sup>159</sup>. Проспект, судя по некоторым деталям, носит характерный для князя Элима отпечаток, и можно без излишней смелости предположить, что он его автор.

Париж, 1/13 декабря 1834 г.

Господин министр!

О новом журнале, основываемом во Франции в русских интересах.

Когда в одном из моих последних рапортов я передавал вашему превосходительству высказываемое мне со всех сторон пожелание получать во Франции более точные сведения о Рос-

сии, я не надеялся найти так скоро возможности реализовать намерения, которые я осмелился изложить вашему превосходительству.

Имею честь предложить ныне на рассмотрение прилагаемый при сем проспект нового философского и литературного обозрения, которое должно появиться в Париже в будущем году.

Обозрение преследует цель составить оппозицию «Revue des deux Mondes» — цель, которую ставил себе журнал «Panorama littéraire», только что слившийся с «Mode», но которой не смог достичь по несостоятельности.

Будучи исключительно преданным консервативным принципам, новое обозрение будет защищать в метафизике (и во всех отраслях естествознания) христианскую философию; в политических науках оно заменит искусственные философические теории доктринами христианскими и естественными; оно будет бороться с безнравственностью и тлетворной тенденцией нынешней литературы, исходя в своей критике из точки зрения христианского искусства; оно будет, наконец, играть роль архива для современной истории, столь искаженной революционерами.

Сокровенная мысль этого издания преследует, если это только осуществимо, еще более возвышенную цель. Она стремится учредить научную пропаганду в пользу истинных доктрин, созданную на основе союза всех выдающихся людей Европы, являющихся носителями консервативных принципов. В этих видах редакторы обозрения уже вошли в постоянные сношения с Мюнхеном и Берлином, и их связи с заграницей расширятся со дня на день.

Издание подобного рода было предметом самых горячих пожеланий лучших умов Германии и Франции. Гг. Ансильон, Шеллинг, Бадер, Гёррес, Молитор высказались в этом смысле. Гг. Шатобриан, Бональд, Ботэн, Балланш, Лоранти, Ламартин и др. обещали журналу покровительство или сотрудничество и усиленно поощряли его организаторов.

Рядовые сотрудники журнала набираются из числа наиболее выдающихся писателей «Revue européenne» и лучших философских журналов Франции. Среди них находится г. Кюрис (переводчик труда Молитора)<sup>160</sup>, которому Шеллинг доверил рукописи своей новой, подлинно христианской философии.

Журнал не будет обсуждать никаких вопросов текущей политики, и на этом основании он объявляет себя независимым ни от какой партии. Он избежит вследствие этого политической ненависти, которая постаралась бы с первого же момента его появления очернить его во Франции, и, во всяком случае, он будет менее навлекать ее на себя. Вот почему влиятельные люди легитимистской партии, и среди них г. Лоранти, не сочли нужным быть объявленными в проспекте. Г-н де Сен-Феликс, который будет подписываться за редактора, хотя он и был сотрудником нескольких легитимистских журналов, известен только по своему прекрасному таланту поэта. Это именно он, побуждаемый мною, и замыслил основать настоящее обозрение.

Проект, снабженный пост-скриптумом для России, издан в 300-х экземплярах. Я позволяю себе препроводить некоторое количество вашему превосходительству, умоляя сообразоваться ознакомить с ним публику, если издание будет иметь счастье получить ваше одобрение.

Несмотря на то, что проспект говорит об ежемесячном издании, может быть, придется сделать журнал трехмесячником, ибо по сию пору он не богат средствами.

Так как я уже два года тесно связан с г. Сен-Феликсом и его товарищами, эти господа любезно предоставили мне право участия в руководстве журналом. Я, конечно, буду соблюдать самую тщательную анонимность. Если до сих пор я подписывал некоторые мелкие свои публикации, то это для того, чтобы облегчить себе сношения с здешними литераторами.

Эта маленькая уловка мне вполне удалась.

Редакция поручила мне, господин министр, молить о высоком покровительстве вашего превосходительства в пользу предпринимаемого издания. Она обязала меня даже не скрывать от вас, что денежная помощь его императорского величества обеспечила бы материальный успех обозрения, этого первого журнала, который появится во Франции в интересах России и в интересах христианской философии, освобожденной от всего специально католического (см. выше, стр. 433).

Я должен также признаться вашему превосходительству, что некая мысль о будущем склонила меня обеспечить себе прямое влияние на это издание и облегчить, насколько могу, осуществление этого проекта. Так как настоящее издание имеет миссию концентрировать все новейшие бл а г и е достижения Европы в области познания, — оно может, в случае революции и с того момента, как его величество обнаружит таковую волю, быть перенесенным в Петербург. Таковы намерения редакторов.

Россия и Франция — два полюса цивилизованного мира — так пишет мне г. де Бональд. Так как истинные светочи сосредоточены на одном конце земного шара, силою вещей они распространяются и на другой. В эпоху Ренессанса духовная культура перекочевала с Востока на Запад. Новый Ренессанс, симптомы которого видимы, пойдет с Запада на Восток. Таковы, по крайней мере, предвидения многих глубоких мыслителей Европы.

Имею честь быть с высочайшим и глубочайшим почтением, г. министр,  
вашего превосходительства

всенижайший и всепреданнейший слуга

Элим Мещерский

## ОРГАН ДВУХ МИРОВ

## Проспект

Интеллектуальное движение нашего века выдвигает необходимость в периодическом издании, которое отмечало бы современный ход идей не только во Франции, но также и в остальном мире.

Мыслящие люди всех стран поняли потребность эпохи. Мы думаем, что мы исполняем священный долг, осуществляя их идею.

Мы зываем ко всем, кто отмечен возвышенностью духа и благородством души, и протестуем против опалы, которой были подвергнуты некоторые народы. Пришло время национальностям самим заговорить и проявиться.

Им нужен орган; в этих видах мы основали наше обозрение.

Две идеи ныне поделили между собою мир: наука, слишком враждебная христианству; христианство, слишком пренебрегающее наукой.

Между тем, будущее человечества зависит от слияния религии и философии.

Деятнадцатый век предназначен, повидимому, разрешить эту проблему.

Мы убеждены, что отныне невозможно существование ни философии, ни искусства, ни литературы, ни даже промышленности — вне христианства. Германия, столь смелая в своем мышлении, столь настойчивая в своих исканиях, дает нам, между прочим, блестящее тому доказательство.

Такова наша доктрина.

Наука в наши дни пользуется двумя различными методами: она или пренебрегает фактами и подгоняет их к своим системам, или же добросовестно изучает факты и извлекает из них идеи.

Мы принадлежим к этой последней школе, которая исправит много ошибок.

Мы думаем, что для того, чтобы идти вперед, нужно хранить достигнутое.

Уважение к прошлому, вера в будущее — таков будет наш девиз.

Не полагаясь слишком на свои собственные силы, но сильные делом, нами защищаемым, мы объединяемся вокруг истины, будучи убеждены, что люди благих намерений во всех странах и во всех партиях захотят нас понять и присоединиться к нам.

У нас нет недостатка в корреспондентах. Каждая страна будет иметь своего представителя на этом конгрессе идей. Мы насчитываем уже сотрудников среди самых выдающихся людей Англии, России, Германии, Италии, Испании, Соединенных Штатов и т. д. Итак, наше издание будет не простым журналом, но настоящим **О р г а н о м Д в у х М и р о в**.

Это дело — дело совести; оно не преследует никаких выгод: не завися ни от какой партии, мы одни, быть может, сумеем гарантировать справедливость для каждого, милосердие для всех.

Цена абонеента на шесть месяцев: 25 франков.

Первый номер этого издания появится в январе в виде сборника в 6 — 7 страниц, как месячный выпуск.

Обращаться к г. Верньеру, ответственному редактору, улица С.-Флорантен, № 5, Париж 163<sup>161</sup>.

Вышепомещенный доклад князя Элима министру народного просвещения снабжен на первой странице следующей надписью, сделанной чернилами рукой самого министра:

«Государь император повелел дело сие передать графу Бенкендорфу. 5 марта 1835 г. Уваров»<sup>162</sup>.

Следует препроводительное письмо Уварова графу Бенкендорфу с копией доклада князя Элима и приложением печатного проспекта «*Organe des deux Mondes*». На полях письма карандашная помета начальника канцелярии III отделения Л. Дубельта: «Убратъ. Я лично сообщу по сему предмету ответ графа»<sup>163</sup>. «Дело» кончается на этом письме. Проект князя Элима не получил, повидимому, никакого движения. Эта «христианская философия», даже «освобожденная от всего специально-католического», ничего не говорила графу Бенкендорфу.

Факт тот, что после четырехмесячного молчания князь Элим пишет Краевскому, чтобы сообщить ему, среди прочего, что «*La France littéraire*» будет принимать подписку, предназначенную для «Органа Двух Миров», если такая окажется.

Париж, 1/13 апреля 1835 г.

Друг мой Андрей Александрович,

Я давно собирался писать к вам, но кончина Сливицкого, мною душевно любимого, и разные другие горестные обстоятельства мне по сих пор препятствовали исполнить искреннейшее желание сердца моего. Теперь я пишу к вам второпях. Курьер отправляется скорее, чем ожидали.

Благодарю, благодарю вас за распрекрасное письмо. О нем поговорю много-много из Страсбурга. Я отправляюсь в сей город через несколько дней к нашему любезному аббату Ботэну. Там я подслушаю кое-что полезное для нас и напишу вам и министру обстоятельно о его учении, — вам же о распространении сих идей в России и применении их к великому, прекрасному образу мыслей.

Я не пишу о новых методах во Франции, ибо там столько метод, сколько шарлатанов. Вообще лучшие умы в Европе ныне не веруют в новые методы преподавания и почитают их следствием механического направления пагубного духа прошлого столетия. Об этом более в другой раз.

Прилагаю при сем *Prospectus France littéraire* (несколько экземпляров). Наш предпринятый журнал будет издаваться ныне редактором *France littéraire* (отчет подробный об этом найдете в моем нынешнем донесении к министру, под № 8). Ради бога, присылайте мне столь много разнообразных статей о России, сколь вам можно будет. В апрельской книге *Франс Литерер* будет помещена прекрасная статья Ботэна против пантеизма.

Уведомьте подписчиков в *Organe des deux Mondes* о преобразовании этого журнала. Подписка к *France littéraire* принимается у Белизара в Петербурге. Попросите Погодина, Максимовича поработать для этого журнала. Я вам отвечаю, что французы не будут кричать: *je s'en paise mon terrain*, и об этом-то более в будущий раз.

Кстати, присылаю вам несколько экземпляров моего перевода V лекции Погодина. Прошу покорно препроводить к нему от меня 5 экз. и уверить его в моем искреннем уважении. Вот дух, в котором история должна быть преподаваема.

Навье послал мне прилагаемые тетради для Остроградского. Прочие же книги, которые вы желали получить, вывелись в лавках и будут вскоре вновь изданы с нужными прибавлениями страниц. Как скоро они выйдут в свет, я их вам пришлю.

Рекомендую вам мои нынешн.: *Notices bibliographiques*, также критику на экономиста Росси. Отчего вы не поместили в вашем журнале отчет мой о книге Бональда? Больно, больно мне — это мое любимое дитя.

Прошу поблагодарить от меня г. Сербиновича за память, а вас за слишком лестную статью о *Poésies cosaques*. Вы, видно, читали ее сердцем, а не критическим рассудком — слава богу для меня. Нельзя ли бы перевести на русский язык статью г-жи Олешкевичевой *Jugements sur la France*? В ней много полезного для русских. Ваша январск. кн. жур. мин. отлична. Слово Максимовича превосходно. Статья Фишера очень замечательна, — но он пречестной и препочтеннейший *рационалист*. Почитайте-ка новую книгу Ботэна и увидите, что значит христианская философия.

Ваш духом и душевно преданный  
Элим Мещерский

Краевский не ответил на письмо князя Элима от 1/13 апреля. Последнего это нисколько не взволновало, однако, он считает, что редакция «Журнала Министерства Народного Просвещения» не пользуется должным образом его сообщениями.

В своем беспокойном мистицизме он опасается также, как бы редакция, сама не отдавая себе в этом отчета, не стала слишком терпимой к духу рационализма; вне откровения нет истины, и союз науки с религией возможен лишь при условии, чтобы одна вытекала из другой. Одержимость этими спиритуалистическими формулами отягощается у князя Элима симптомами болезни; его кругозор на ближайшее время будет ограничен этими двумя категориями забот: Страсбург и аббат Ботэн, потом Эмс и врачи и опять Страсбург.

Париж, мая 30 дня 1835 г.

Любезнейший Андрей Александрович,

Находясь в хлопотах отъезда, пишу к вам только два слова. Прошу вас покорно отдать от моего имени в какое-нибудь училище восточных языков прилагаемые два манускрипта и также сообщить *Prospectus de la France littéraire* желавшим подписаться на *Organe des deux Mondes*. Присылайте, присылайте нам статьи, если можно, на французском языке: будем помещать их в *Франс Литерер*. Что моя статья о Бональде? Что моя критика профессоров французских? Как бы я рад был видеть их в вашем журнале! Нельзя ли бы вам почаще помещать статьи из *Annales de philosophie chrétienne*? Ради бога, держитесь более духу католиков (*scientifiquement parlant*) в выборе иностранных статей. Рационализм убьет нас. Ваш Фишер рационалист. Сидонский ужасный рационалист. Не

довольно развивать для нас философию в духе не отрицательном касательно христианства. Надобно утвердить ее положительно на откровении; не то беда, поверьте: беда. Я из опыта знаю, как ложно предположение, что философия и религия могут сойтись вместе,—нет, они не сойдутся в истинно логическом уме, ежели они не выходят одна из другой. Я только знаю теперь Максимовича и Андросова, которые имеют в науке точку зрения истинно-православную. Друг мой, бог вам дал возможность противоборствовать злу в вашем журнале и указывать путь к истинной науке.

Не теряйте из виду ответственность, на вас наложенную. Извините мою искренность—я говорю с вами из души и чувствую, что ваша душа должна понять меня. Здоровье мое что-то плохо—не знаю, долго ли мне можно будет трудиться с вами. Я нравственно и физически утомлен,—а еще ничего-ничего не сделал. В голове моей только несколько идей, коих приложение может быть полезно нашему отечеству. Но сил недостает осуществить сии идеи. Я вам их завещаю. Вы найдете в моем манускрипте *De la foi dans la science* зародыши всего умственного направления моего. Как досадно, что у вас нет корреспондента в Германии! Еду на-днях в Страсбург. Потом буду лечиться в Эмсе и возвращусь учиться в Страсбург. Пишите мне туда.

Обнимаю вас душевно.

Э. Мещерский

Связь между князем Элимом и избранным им другом становится решительно весьма непрочной. Только в конце января следующего года Краевский отвечает, наконец, на приведенные выше два письма—от 13 апреля и от 30 мая. Его ответ дружествен, но поверхностен и лукав. Он признает, что этот век есть еще век фраз («мы живем еще в веке фраз»), хвалит молодых людей за то, что они не хотят больше парить в облаках и получили вкус к положительным знаниям («проходит чад заоблачных высокопарений и все, даже самые пылкие головы, обращаются теперь к знаниям положительным»), извиняется, что не напечатал статью о Бональде, так же как и статью о парижских профессорах, потому что министр не желает знакомить русских читателей с их идеями, и упрасивает князя доставлять ему тайным путем запрещенные книги, в которых он нуждается для своих работ: ибо «подобает избегать ересей, но позволительно знать их». Начало письма трактовано в остроумной манере XVIII в. (бог легкомысленно именуется тут «отцом светов»); середина письма полна замечаний, неприятных для мистика, и сам Ботэн не получил пощады; конец пахнет либерализмом и бросает вызов цензуре. Краевский утратил тон, подходящий для своего корреспондента, или же пренебрег им. Что мог ответить князь? Его ответ от 21 марта 1836 г. вежлив, но краток. Переписка двух друзей прекратилась на этом, как и их дружба, построенная на духовном сродстве, существование которого вообразил себе князь Элим. «Роман» продолжался всего каких-нибудь два года и ограничился обменом писем: эти люди, повидимому, никогда не встретились.

29 января 1836 г.

Почтенный друг мой, князь Елим Петрович!

Давным-давно не беседовал я с вами, хотя столь же давно желал побеседовать. Виною этого было лето, обыкновенно расстраивающее весь

порядок, течение дел нашей жизни. По плохому здоровью своему, ослабляемому беспрестанно разнообразными хлопотливыми и с напряжением мозга сопряженными работами, я должен был воспользоваться прошлым летом для того, чтоб взять отдых и на свободе позаняться своею скотиною (m o n a p i m a l), как говаривал блаженной памяти Руссо. Поэтому я взял отпуск и поехал на юг России, чтобы маленьким путешествием порассеять и подкрепить себя; но, приехав в Москву, разболелся и остался там на руках одного известного медика, который кое-как искусственными водами поднял меня на ноги. Главное лечение мое состояло в том, чтоб я ничего, совершенно ничего не делал, не читал, даже не мыслил и на время превратился бы в полу-четвероногое: таким образом, я у б и л для души целые три месяца, зато теперь довольно бодр и здоров. Странно, непостижимо это двойственное существо—человек! Созданный для неба и поставленный на землю, он должен стремиться удовлетворить этому двустороннему влечению, чтоб жить в п о л н о м смысле слова, и никогда еще не умел он уравновесить обоих этих направлений, найти средний путь, с которого бы мог не уклоняться ни в ту, ни в другую сторону. Пренебреги здоровьем тела,—ты сделаешься невольным самоубийцею, ты восстанешь против временного, но не менее того важного назначения своего: ж и т ь н а з е м л е, р а з в и т ь ф и з и ч е с к и е и д у х о в н ы е с в о и с и л ы; предайся же заботам о теле,—ты позабудешь свое вечное небо, и взор твой, как взор животного, привыкший склоняться к земле, не посмеет уже воззреть на высоту небесную. И найдет ли когда-нибудь человек эту средину желанную? Господи! Неужели только там, во светлых селениях своих, ты успокоишь его и избавишь от печали, болезни и воздыхания? Что ж ему делать здесь, на земле, с бранным телом своим, которое влечет его к темному праху и попечение о котором отводит его от тебя, отца светов!

Долго, долго еще не разгадаем мы вполне этой огромной проблемы.

Как вы, мой почтенный Елим Петрович, уладили с своим здоровьем? Свежил ли тело ваше Эмс и душу Ботэн? Что делает теперь Ботэн? Ради бога, не сетуйте на мое продолжительное молчание; если б вы знали, как я занят и озабочен, то верно бы простили меня; напишите поскорее и поподробнее о том, что вы знаете о его занятиях. Все, изданное им доселе, может быть принято только за попытку, за надежду произвести что-то, а обещанного во «Введении» полного развития всей его системы до сих пор нет как нет, даже нет к тому и приступа.

Что же, неужли он удовольствуется только тем, что вбросит в мир мысль, а развитие ее предоставит другим? Это было бы очень прискормно. Друзья истины в России (смею и себя назвать в числе их) не удовлетворяются одними его фразами, хотят дела: начнется ли оно? Все что-то не верится: мы живем еще в веке фраз! Я бы униженнейше просил вас написать мне, как можно подробнее, о труде Ботэна и других с ним гармонирующих, но преимущественно о самом Ботэне. Всего бы лучше вы сделали, если б, кроме письма, которое бы осталось между нами, прислали об этом еще подробнейшее письмо, которое бы я мог напечатать в журнале: многие, как мне известно, в разных углах России интересуются Ботэном и из нашего журнала с удовольствием узнали бы об нем новости. Между прочими любопытствующими назову ректора Киевской академии архимандрита Иннокентия, человека высокой учености и смиреннейшей веры: об ораторском искусстве его можете судить по выпискам, сделанным в нашем

журнале, из его «Страстной седмицы». Да, скажите, что за ссора у Ботэна была с страсбургским епископом и как они дошли до примирения, объявленного в *G a z e t t e d e F r a n c e*? Я ничего об этом не знаю; притом же я недавно только узнал, что вы возвратились в Париж.

При всем желании моем увеличить число подписчиков на *F r a n c e l i t t é r a i r e*, я не мог ничего сделать: у нас французские журналы читаются только литературные, да еще две-три политические газеты, и то весьма немногими. Напрасно редактор *F r a n c e l i t t é r a i r e* поместил статью герцогини д'Абрантес о Екатерине II: с такими статьями он еще менее найдет подписчиков в России. Сделайте одолжение, присылайте министру (С. С. Уварову) еще один экземпляр этого журнала для попечителя Казанского учебного округа.

Осенью, по возвращении из Москвы, я нашел оба последние ваши письма, полученные здесь в июне, хотя одно из них писали вы в начале апреля, а другое в конце мая, перед своим отъездом из Парижа. Приложенные к ним *p r o s p e c t u s* я разослал куда только мог, а Погодину переслал 5 экз. переведенной вами его лекции. Усерднейше благодарит вас г. Остроградский за доставление тетрадей от Навье, а я благодарю вдвое за исполнение этой моей просьбы. На сотрудников русских для *F r a n c e l i t t é r a i r e* не надейтесь: у нас так мало деятельности, что едва-едва станет на 2—3 собственные периодические издания. Антропов с прошлого марта издает свой журнал (Московский Наблюд.). Максимович расстроился в здоровье, так что принужден отказаться от ректорства в университете св. Владимира; а Погодин трудится теперь над доказательствами подлинности Несторовой летописи, которую силится уничтожить у нас новая историческая школа. Две восточные рукописи, вами присланные, принес я от имени вашего в дар Академии наук, ибо в Институте восточных языков таких вещей много, а в Академии, сколько мне известно, мало. Ваша статья о Бональде не напечатана потому, что министр не хочет, чтоб наш журнал трогал так глубоко политику; а разбор профессоров парижских, как и рецензию на книгу Бональда, он читал с большим удовольствием и благодарит вас за них, но не хочет приводить у нас в известность начал этих господ.

Мне кажется, напрасно вы восстаете, мой почтенный Ел. Петрович, на новые методы обучения. Я согласен, что они механические, но ведь и ребенок еще машина; когда же начнут в нем развиваться высшие его элементы, благоразумный наставник сумеет вдохнуть в этот прекрасно устроенный механизм дыхание жизни. Поверьте, что все зависит от наставника. Я недавно видел в гатчинском Воспитательном доме чудеса от методы Жакото. Дети там не простые машины, но у них развито и мышление и чувство до невероятной степени: они понимают и головой и сердцем. Итак, все-таки, прошу вас, извещайте меня обо всех улучшениях метод обучения: я буду приводить их в известность, с нужными ограничениями, замечаниями и проч. Надобно, сколько возможно, заботиться о доставлении лучшего воспитания будущему поколению: наше собственное—плохо. Посодействуйте этому, прошу вас.

Вы обещали много поговорить со мною из Страсбурга о последнем моем письме к вам, но до сих пор еще не исполнили своего обещания. Не забудьте его.

Вы премного бы обязали меня ответом на вопрос: можно ли от вас с курьером получать французские книги, которым ход у нас не дозволен (разу-



меется, чтоб это не подвергало вас никаким неприятностям, — избави боже: я ни за что не решился бы просить вас при таком условии). Часто я нуждаюсь во многих пособиях и, как декан по части истории в одном из здешних военно-учебных заведений, имею на то некоторое право; но просьба о дозволении выписывать эти книги обыкновенно бывает сопряжена и с затруднениями и с несправедливостями со стороны книгопродавцев. Нельзя ли хоть присылать их на имя редакции «Журнала Министерства Народного Просвещения», сделав эту надпись на наружный пакет, а внутренний адрес на мое имя. Так, например, я очень хотел бы и даже мне нужно было бы прочесть *Histoire de la révolution française, par Thiers*, такого издания, которое полнее и лучше, но здесь нигде ее нет; и многое, многое желал бы я иметь, чего здесь нельзя достать, а прочесть-то очень хочется и надобно. В этом случае я руководствуюсь словами апостола Павла: «подобает о ереси з н а т ь, не подобает т в о р и т ь»; а з н а т ь-то все-таки подобает. Прошу вас отвечать мне на это; только, ради бога, не подвергайте себя никакому риску.

Вот вам новости об нас. В нашей литературе замéтно начинается движение и стремление к дельному учению; проходит чад заоблачных высокопарений, и все, даже самые пылкие головы, обращаются теперь к знаниям положительным, к работе усидчивой и деятельной; появляются книги научающие, а не сбивающие с толку; пишутся новые учебные руководства по всем отраслям наук, приуроченные к нашим потребностям и духу, а не переведенные с иностранного. С будущего года, есть надежда, появятся и периодические издания для чтения и просвещения народу, для озарения его ума (до сих пор еще тусклого и недейтельного) светом православной веры, сознанием своих человеческих и гражданских обязанностей, указанием на благоденствие власти, им правящей, и просвещенного любовью ко всему родному русскому... Дай бог, дай бог. Я, как ребенок, предаюсь этой обольстительной надежде и, как ребенок, прыгаю от радости...

Теперь прощайте. Любите и не забывайте обнимающего вас всем объемом души своей.

А. Краевский

Париж, 21 марта 1836 г.

Дорогой Краевский!

Эти несколько строк вам доставит г. Язвинский. Мне нет нужды рекомендовать вам этого почтенного человека, которого я близко знаю около трех лет. Вы достаточно оценили достоинства польского метода, который, надеюсь, скоро станет русским методом. Я буду особенно вам обязан, если вам угодно будет стать проводником г. Язвинского через трудности его нового положения и доставить ему хорошие знакомства среди людей, могущих быть ему полезными.

Сегодня я не отвечаю на ваше прелестное письмо, полученное мною на-днях. Оставляю за собой право вскоре поговорить с вами подольше и по-русски. Будьте добры попросить у министра посланную ему мною в прошлом н о я б р е большую статью о г. Ботэне и его учении. В этой работе вы найдете все разъяснения по поводу этого философа и его произведений, о чем вы меня просили. Я у д и в л я ю с ь и поистине огорчен, что вы не познакомились с лучшим, по-моему, произведением, написанным мною до сих пор.



предлог прекратить службу; Яков Николаевич Толстой, с одобрения графа Бенкендорфа, замещает его.

Князь Элим, со своей стороны, никогда не пользовался одобрением шефа жандармов<sup>164</sup>.

Таким образом, князь Элим оказался возвращенным поэзии и салонам. Здесь он — в своей стихии. Отныне он будет поддерживать духовную связь между своей страной и Францией Людовика-Филиппа теми способами, какие сам найдет нужными, не ожидая ничьих инструкций и одобрения. Он будет служить, сам того не подозревая, как бы резонатором официального национализма и нарождающегося славянофильства. Французам он будет говорить о величии «святой Руси», об ее роли в будущем, и вместе с русскими и парижскими своими друзьями-легитимистами он будет поносить буржуазный либерализм и вольтеррианский скептицизм и мечтать вслух о торжестве христианского учения, которое объединит православных и католиков и где не будет места для папы. И, что, пожалуй, важнее всего, он переведет французскими стихами, всегда гладкими и часто хорошо отчеканенными, немало шедевров русской поэзии. Французский романтизм обязан ему тем, что он приотворил дверь на русский Восток, и историк литературы отведет ему место рядом с Лабенским — в этой группе «малых романтиков», творчество которых так любопытно иллюстрирует вторую треть XIX в.

Князь Элим родился аристократом, под сенью Библейского общества и синода, и это обстоятельство составляло одновременно его силу и его слабость. Он обладал тонким умом и благородной душой; его хотели сделать дипломатом, а был он поэтом, патриотом, мистиком. Но он не знал жизни, не знал людей, и суровый воздух их повседневного существования был ему чужд. Он жил чувствами, образами, словесными иллюзиями, пленник своей верности прошлому; его происхождение обрекло его быть тепличным растением.

Ему нет места в лихорадочном Париже эпохи, последовавшей за июльской революцией — среди народа, только-что завоевавшего себе режим либеральной монархии и уже ожидающего республики. Он не любит этот народ — «полуобезьяну, полутигра». Правда, ему нравится иметь салон в Париже, но он тоскует по николаевской России и по маленьком немецком дворе, куда его влекут воспоминания детства; у него нет других друзей, кроме французских и сардинских легитимистов, он переносит французов лишь постольку, поскольку замечает у них симптомы абсолютистской реакции и религиозного пробуждения. Трудно представить его себе иным, нежели таким, каким были, по изображению де Брольи, некоторые русские аристократы в Париже: одетые с иголочками, знающие наизусть последний модный роман и рассуждающие о современной политике, как француз из Faubourg Saint-Germain. С таким русским невольно пускаешься в откровенную беседу, как с соотечественником; «и вдруг какой-нибудь жест, какая-нибудь интонация голоса дают вам почувствовать, что вы находитесь лицом к лицу с самым ожесточенным врагом вашей родины»<sup>165</sup>.

Не потому ли та «святая Русь», апостолом которой провозгласил себя князь Элим, находила себе сторонников лишь в немногих салонах? Общественное мнение относилось к ней подозрительно. Барон Маскле, французский консул в Ницце, отмечает 3 февраля 1831 г.: «Говорят, что все русские должны будут покинуть Францию, где парижане, охваченные энтузиазмом,

вызванным варшавским восстанием, охотно распевают «Варшавянку» Делавиня... Княгиня Мещерская, жена прокурора синода, только что прибыла в Марсель. У нас здесь находятся генерал-майор граф Кирилл Иванович Гудович, г-жа Кайсарова, жена начальника главного штаба русской армии, графиня Пален, дочь покойного генерала-аншефа, баронесса Пален, ее родственница, полковник Михайлов и его жена...». Именно в Ницце двенадцать лет спустя, в ноябре 1843 г., произошел инцидент, вызвавший столкновение князя Элима с двоюродным правнуком Декарта, маркизом Претр де Шатожироном, который исполнял тогда обязанности французского консула в этом городе. Французский часовщик Матье, уроженец Вальса в департаменте Ардеш, подал жалобу в консульство на князя Мещерского: «Я представил ему, — писал он, — счет на 25 франков. Он велел мне притти к себе и там, в присутствии комиссара, обозвал меня лентяем, канальей и негодяем. Он приказал, именем царя и своего посла, засадить меня в тюрьму и сгноить там. Комиссар просил простить меня, а я должен был просить прощения у прислуги. Тогда князь уплатил мне не 25 франков, а 30. Я не хочу взять эти пять франков. Он позвал к себе двух карабинеров и хотел заставить меня в их присутствии просить прощения у своих слуг».

17 ноября Шатожирон посылает жалобу графу Рудольфу де Местру, сыну Жозефа, губернатору Ниццарского округа. 19-го Местр отвечает, что так как Матье обозвал лжецом одного из слуг князя, такого же француза, как и он сам, и дурно отзывался в одном кафе о князе, то он, в качестве губернатора, не будет вмешиваться в это дело. 23-го Шатожирон настаивает на своей жалобе: князь Мещерский «нарушил частное и публичное право». 25-го губернатор присылает консулу высокомерный ответ. 29-го виконт Серюрье, поверенный в делах французского посольства в Турине, высказывает одобрение поведению консула и квалифицирует, как «нелояльные и неуместные», письма графа де Местра. 17 декабря Шатожирон передает губернатору жалобу часовщика, настаивая на том, что считает ее «столь же наивной, как и умеренной», и добавляет, что комиссар полиции «удостоверил подлинность этой прискорбной сцены». 23-го он обращается одновременно во французское посольство в Турине и министерство иностранных дел в Париже, обвиняя губернатора в том, что он «пристрастен к антифранцузски настроенным русским, будучи воспитан в идеях своего отца, и что он является врагом нашей июльской революции и принципов, ее создавших». Уже 26-го посол поздравляет консула с прекрасным ответом на письмо князя—«нелояльное по существу и непристойное по форме», и воздает «должное недобросовестности губернатора Ниццы»<sup>166</sup>.

Эпизод, разумеется, мелкий, но он безжалостно вскрывает изнанку «святой Руси».

А об этой изнанке «святой Руси» не перестает сообщать французам либеральная пресса 30-х годов, начиная с «Le Journal général de l'instruction publique» вплоть до «Revue de deux Mondes» и до «Revue européenne», вопреки протестам, которые помещает там князь Элим (см. выше, стр. 422). Сам аббат Ботэн вынужден выразить своему корреспонденту сомнение относительно «духовного и нравственного влияния», на которое тот рассчитывает со стороны империи царей: «Силы мира сего, — пишет он лукаво, — кажется мне, слишком преобладают в вашем отечестве, чтобы это было возможно» (см. выше, стр. 430).

Что касается среднего француза той эпохи, то он еще менее, чем этот философ, обманывался насчет сущности «святой Руси» Николая I, и, конечно, это его голос узнаем мы в номере «Charivari» от 11 марта 1839 г. (понедельник), на другой день после появления «Бореалий»:

«Достоинства литературной формы г. Б. де Ж. далеко не искупают в наших глазах его антифилософских и антифранцузских идей, но мы находим в данном случае два извиняющих обстоятельства. Первое—то, что он умер; второе, что мы считаем более лойяльным и более полезным бороться с этими идеями в лице князя Элима Мещерского, который, как нам сообщают, и поныне здравствует и заявил, что безоговорочно разделяет эти идеи.

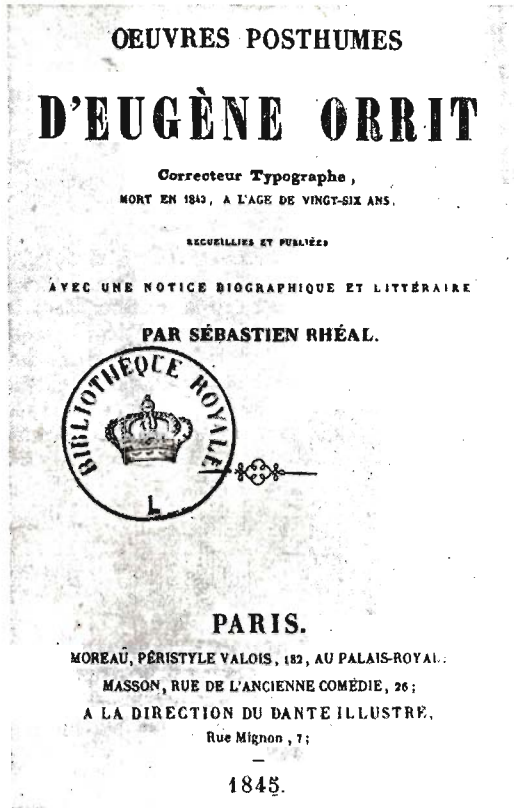
Князь Элим Мещерский признает, что ему принадлежит, не считая общего московитского духа «Бореалий», только вторая часть сборника, переводы и подражания русским поэтам, которые, если ему верить, вырастают тысячами на Северном полюсе... Стих князя Элима Мещерского менее неправилен, чем у г. Б. де Ж. Он лучше умеет распределять краски и избегать неприятных созвучий, словом, у него больше уменья. Однако, никогда он не бывает более изящным, чем когда он удачно подражает французской форме: он сам в этом сознается с похвальной скромностью.

Но почему тогда эта постоянная анафема французским идеям?.. Неужели вы думаете, что они не находятся ни в какой связи с формой и что та свобода, которой вы нас попрекаете и которой мы обязаны философии, не оказала могущественного влияния на положение, занимаемое ныне Францией в интеллектуальной Европе, как и на все другие наши достижения, которыми вы восхищаетесь? Когда вы ищете, когда вы так пламенно желаете знакомства с нашими поэтами, разве вам не приходит на ум, что в России многие из этих людей были бы, быть может, прикреплены к земле ваших поместий, отданы во власть податей и кнута. Что касается меня, то я не верю, что бы вы там ни говорили, что в подобных социальных условиях они смогли бы создать свои шедевры, а если бы даже они их и создали, то разве не находилось бы сейчас большинство этих поэтов в рудниках Сибири по милости вашего великодушного царя?

С другой стороны, я хорошо знаю, что задача правительства отнюдь не заключается в том, чтобы создавать поэтов, и вы были бы вполне правы в своем идолопоклонстве перед русскими учреждениями, если бы они, по крайней мере, приносили счастье наибольшему числу людей. На это вы как раз и претендуете. Однако, ваша, по меньшей мере, странная аргументация сводится к тому, что русский народ счастлив, потому что он терпелив, потому что он свят среди наносимых ему ран, но чем более оздоравливают его раны, тем глубже должны они быть и тем более должны они вызывать угрызения совести у тех, кто их наносит. А что до благополучия, которое испытывает в этом святом своем терпении народ, то об этом я хотел бы узнать от него самого, а не от вас, боярин»<sup>167</sup>.

Да, конечно, он был «боярином», этот патриот и мистик, политические и религиозные формулировки которого заставляют нас теперь улыбаться, показывая нам, в то же время, одну из разновидностей русского национализма в один из самых любопытных периодов его развития. Но он был также и поэтом,—и именно поэту воздает хвалу Альфонс Карр тоном проповедника в двойном надгробном слове, которое противопоставляет и одновре-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  
КНИГИ СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТА-  
ТИПОГРАФЩИКА EUGÈNE ORRIT, 1845 г.



менно демократически соединяет в общем трауре поэта-князя и поэта-пролетария.

«Я получил два томика стихов двух умерших поэтов. Мне прислали их матери обоих.

Один, Элим Мещерский, был князем, другой, Эжен Орри, — рабочим-печатником. Обе матери, разумеется, не знают и никогда не видели друг друга, но они сошлись в выражении своего горя: обе они издали сочинения своих сыновей; обе они потребовали от славы цветов на возлюбленные их могилы. У обеих было то же чувство гордости и то же чувство жалости.

Эти два томика, авторы которых умерли в одном и том же 1844 году, были напечатаны в одном и том же 1845 году и в одном и том же месяце, и оба имеют серую обложку.

Госпожа Орри и княгиня, у обеих вас все основания оплакивать своих сыновей: это были замечательные люди, и вы имеете право гордиться их талантами. Талант князя был более благородным, более утонченным и более завершенным; талант рабочего более беспокойным, более пылким, более смелым...

Бедные матери — вы, что остаетесь матерями, когда у вас нет уже более сыновей, и находите в вашей изобретательной нежности средство заботиться о них, когда их уже нет, — примите благосклонно эти скромные цветы, которые я бросаю на их могилы — эти немногие слова — дань справедливости, которую я воздаю вашим дорогим усопшим.

Альфонс Карр»<sup>188</sup>

## ПРИМЕЧАНИЯ\*

<sup>1</sup> Руммель В. В. и Голубцов В. В., Родословный сборник русских дворянских фамилий, СПб. 1887.

<sup>2</sup> «Остафьевский Архив», III, стр. 427—428.

<sup>3</sup> Благовидов Ф. В., Обер-прокуроры святейшего синода в XVIII и в первой половине XIX столетия, 2-е изд., Казань, 1900, стр. 378—399.

<sup>4</sup> «Остафьевский Архив», III, стр. 428.

<sup>5</sup> «Русская Старина», 1894, 7, т. LXXXII, стр. 217 (Автобиография юрьевского архимандрита Фотия).

<sup>6</sup> «Русский Архив», 1908, 1, стр. 25.

<sup>7</sup> «Остафьевский Архив», III, стр. 428. Князь Элим посвятил Веймару (см. стр. 424) статью, которая кончается так: «Веймар! Рай, где прошло мое детство, я говорил о тебе, как говорят о друге. Твои деревья, твой дома — для меня воспоминания счастья и невинности; я хотел бы, чтоб мне снова было только восемь лет, чтобы я мог молиться за тебя и благословлять тебя... Ты дал мне матерей, сестер, братьев, а в моей «варварской» «российской» родине не говорят дурно о родных» («Allemagne et Pays-Bas, Landscape française», P. s. d., pp. 154—155). Он писал в августе 1844 г. — менее, чем за три месяца до смерти (эти стихи были опубликованы отдельной книжкой, воспроизведены также в «Les roses noires», pp. 290—291):

Когда, устав в пути от оскорблений рока,  
К дням детства ясного я обращаю око,  
Придя к своей мете и провожая дни,  
Все вижу Веймара манящие огни...  
Год восемнадцатый! Блестящая година!  
Ребенком я блуждал в горах саксонских стран,  
Взбирался на козу, бил звонко в барабан...  
Мной обожаем был — ужель ребенок льстец? —  
Наследный принц: ко мне был добрым, как отец.  
Пред покровителем волшебных вдохновений  
Картонный мой балет плясал на детской сцене.  
Я игры измышлял для дочерей его,  
Чей блеск предвосхищал чар зрелых торжество.  
Насколько помню я, для них я строил парки  
Из трех кустарников; из шкапа эжидил арки.  
Я сердцем родился на Ильме и готов  
Сказать был «веймарец!» смотрителю мостов.

<sup>8</sup> «Русский Архив», 1890, 10—12. Приложение: «Записки современника».

<sup>9</sup> «Русский Архив», 1900, 3, стр. 295 (воспоминания А. В. Мещерского): «В это время [1839] на горизонте московского общества появились новые звезды: несколько красавиц, молодых девиц, в числе их дочь сенатора Жихарева, вышедшая за моего двоюродного дядю кн. Элима Петровича Мещерского...». «Русский Архив», 1894, 3, стр. 72 (автобиографическая заметка С. М. Сухотина): «Сердце у меня было не камень, я был очень впечатлителен и влюблялся во многих тогда из моих сверстниц, из которых особенно была пленительна Варинька Жихарева, вышедшая потом за кн. Эмиля [?] Мещерского и наделавшая много шуму своими похождениями; у ее родителей бывали очень милые балы...» (это свидетельство относится к 1833—1834 гг.).— О Жихаревых см. А. Б. Лобанов-Ростовский, Русская родословная книга, стр. 197, 439; см. также «Русский Архив», 1890, приложение: С. Жихарев, Записки современника.

<sup>10</sup> Вел. кн. Николай Михайлович, Петербургский некрополь, III, СПб. 1912, стр. 114.

<sup>11</sup> Мин. иностр. дел, Петерб. гл. архив, IV, 1, 1823, № 32. «О принятии в коллегию иностранных дел князя Мещерского актуариусом». Документ написан на русском языке.

\* Пользуясь примечаниями, читатель должен иметь в виду, что автор собирал документы об Элиме Мещерском в русских архивах частично еще до революции. С тех пор местонахождение ряда архивных фондов изменилось, равно как изменились в ряде случаев архивные шифры, нумерация дел, листов и др.

Сообщаем необходимые данные для уточнения архивных ссылок, приводимых в статье проф. Андре Мазона: I. Дела б. Министерства иностранных дел и Петербургского главного архива хранятся ныне в фондах Архива внешней политики в Москве.

II. Дела б. Министерства народного просвещения (фонд канцелярии министра народного просвещения) хранятся ныне в фондах Ленинградского отделения Центрального исторического архива (ЛОЦИА). Современные шифры использованных автором дел канцелярии министра народного просвещения таковы: 1) 1834 г., д. № 127965, карт. 6187; 2) 1834 г., д. № 128018, карт. 6188; 3) 1836 г., д. № 128210 (присоединено к д. № 127937, карт. 6186); 4) 1837 г., д. № 128221, карт. 6197; 5) 1846 г., д. № 129279, карт. 6228.—*Ред.*

<sup>12</sup> Архив мин. иностр. дел, IV, 4, 1825, № 3, «Об определении актуариуса князя Элима Мещерского к миссии в Дрезден и увольнении его к эмским минеральным водам на летнее время». Письмо кн. Е. Мещерской написано по-французски.

<sup>13</sup> Архив мин. иностр. дел, IV, 46, 1825, № 1. Аттестат написан на русском языке.

<sup>14</sup> Архив мин. иностр. дел, IV, 8, 1826, № 7, «О пожаловании в звание камер-юнкера кн. Элима Мещерского».

<sup>15</sup> Архив мин. иностр. дел, IV, 7, 1826, № 27, «О производстве кн. Элима Мещерского в переводчики коллегии иностранных дел».

<sup>16</sup> Архив мин. иностр. дел, IV, 9, 1827, № 12. Письмо Ханыкова написано по-французски.

<sup>17</sup> Архив мин. иностр. дел, IV, 4, 1829, № 9, «Об определении переводчика кн. Элима Мещерского к миссии в Турине с прибавкою жалованья».

<sup>18</sup> Ibid., IV, 7, 1829, № 32.

<sup>19</sup> Ibid., IV, 4, 1829, № 9.

<sup>20</sup> Согласно Варнгагену фон Энзе, Николай I сообщил Баранту о переводе Поццо ди Борго из Парижа в Лондон в следующих выражениях: «Я освободил вас от великого интригана» («Русский Архив», 1875, 2, стр. 347).

<sup>21</sup> Архив мин. народного просвещения, № 127937, карт. 6168, лл. 15—16. Документ написан на русском языке.

<sup>22</sup> «Journal du comte Arpony», publié par Ernest Daudet, P., 1914, t. II, p. 448.

<sup>23</sup> «Русская Старина», 1899, 10, т. L, стр. 187 (статья Б. Л. Модзалевского).

<sup>24</sup> Фигура Якова Николаевича Толстого была освещена Б. Л. Модзалевским в двух превосходных статьях в «Русской Старине», т. ХСІХ, стр. 587—614, и том L, стр. 175—199. Я опубликовал одно из его донесений о народном образовании во Франции в «Feuilles d'histoire», t. XII, 1914, № 7, pp. 65—73. Серия донесений 1848 г. была опубликована особо: «Революция 1848 г. во Франции. Донесения Я. Толстого», Л., 1926, Госиздат (Центрархив). См. также публикацию донесений Я. Толстого в III отделение в настоящем издании.

<sup>25</sup> Архив мин. народного просвещения, № 127937 и № 128210.

<sup>26</sup> Архив мин. народного просвещения, № 128221, 1837 г. Письмо на русском языке.

<sup>27</sup> Ibid. Документ на русском языке.

<sup>28</sup> Архив мин. народного просвещения, № 127937, дело, начатое в 1834 г. Письмо на русском языке.

<sup>29</sup> Ibid. Письмо на русском языке.

<sup>30</sup> «Journal de Victor de Balabine», publié par Ernest Daudet, P., 1914, t. I, p. 165.

<sup>31</sup> Сочинения и письма Николая Васильевича Гоголя, изд. П. А. Кулиша, т. VI, СПб. 1857, стр. 190—191.

<sup>32</sup> «Journal des jeunes personnes», t. XIII, 1845, pp. 5—6 (январская хроника за 1845 г. Emile Deschamps); «L'Artiste», 1845, II (статья Wilhem Ténint); «Русский Инвалид», 1845, № 105 (13 мая), стр. 413—414 (русский перевод статьи Anaïs Ségalas).

<sup>33</sup> См., напр., «Переписка Александра Ивановича Тургенева с князем Петром Васильевичем Вяземским», I, 1814—1833, стр. 276 и 491; M-me Ancelot, Un salon de Paris: 1824 à 1864, P., 1866, p. 98.

<sup>34</sup> Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, под ред. М. Гершензона, М., 1914, т. I, стр. 197—199; см. также Q u é n e t (Charles), Tchaadaev et les Lettres philosophiques: contribution à l'étude du mouvement des idées en Russie, P., 1931, pp. 199 et 229 (Bibliothèque de l'Institut français de Léningrad, XII); Л е м к е М., Николаевские жан-дармы и литература, СПб. 1908, стр. 427—428.

<sup>35</sup> «Русская Старина», 1870, т. I, стр. 571 (1-е изд.) и 366 (2-е изд.).

<sup>36</sup> «Русский Архив», 1909, 2, стр. 497: письмо С. А. Соболевского к С. П. Шевыреву, помещенное Турином, 23 мая 1831 г.

<sup>37</sup> «Литературное Наследство», кн. 15, стр. 300; этот экземпляр «Бориса Годунова» был принесен в дар Н. О. Лернером Литературному музею в Москве; «Пушкин и его современники», вып. IX—X, СПб. 1910, стр. 222 (Б. Л. Модзалевский, Библиотека Пушкина).

<sup>38</sup> «Исторический Вестник», 1883, 7, т. XIII, стр. 164—173; «Русский Архив», 1908, т. I, стр. 25—47.

<sup>39</sup> «Русский Архив», 1875, 2, стр. 347: «Из дневников Варнгагена фон Энзе».

<sup>40</sup> «Русский Архив», 1902, 3, стр. 179: «Дневник И. М. Снегирева», год 1836, под 28, 30 и 31 августа и 19 сентября.

<sup>41</sup> Б а р с у к о в Н., Жизнь и труды Погодина, СПб. 1888—1907, т. IV, стр. 135—137.

<sup>42</sup> П о г о д и н М., Год в чужих краях: дорожный дневник, ч. III, М., 1844, стр. 79.

<sup>43</sup> «Русская Старина», 1870, 2, стр. 420: Записки М. И. Глинки.

<sup>44</sup> См. A s s e Е. Les petits romantiques, P., 1900, pp. 41—84.



<sup>45</sup> Mémoires du vicomte Armand de Melun, revus et mis en ordre par le comte Le Camus, I, P., 1891, p. 179.

<sup>46</sup> В а u d i n Е., L'union des Eglises d'Orient et d'Occident d'après une correspondance inédite entre Bautain, Mestscherski et A. Mouravieff, 1834—1837, Le Puy, 1922, pp. 5—37 (отдельный оттиск из «Revue des sciences religieuses»).

<sup>47</sup> G i r a r d Н., Un bourgeois dilettante à l'époque romantique: Emile Deschamps, 1791—1871, P., 1921, pp. 371—384. См. также «Les Boréales», par B. de G. et le prince Elim Mestscherski, P., 1839, pp. 3—37.

<sup>48</sup> Конца письма недостает. Этот документ воспроизведен здесь по копии, которую ныне покойный Henri Girard с дружеской любезностью когда-то сообщил мне. Сам он воспроизвел его in extenso в своей прекрасной книге (op. cit., стр. 373—374, прим. 2-е).

<sup>49</sup> Les Boréales, pp. II—III. Двадцать лет спустя Эмиль Дешан вспоминал с восхищением князя Элима; он писал 13 апреля 1859 г. князю и княгине Голицыным: «Знаете ли вы, что знатные русские, которые подобно вам, владели французской лирой и пером, как граф Шувалов, как князь Элим Мещерский и пр., одержали блестящие победы в нашем языке и составили опасную конкуренцию тем, кто говорит на нем от рождения. Мы одновременно и гордимся и унижены...» (Неизданное письмо из коллекции кардинала Dubois; я ознакомился с этим письмом, благодаря дружеской обязательности покойного Henri Girard).

<sup>50</sup> G i r a r d Н., op. cit., p. 383. О творчестве Жюль де Сен-Феликса см. M a r s a n J., La bataille romantique, P., 1912, pp. 243—292.

<sup>51</sup> См. выше, стр. 387: «Сен-Феликс должен вам, я знаю, небольшую сумму. Нельзя ли устроить так, чтобы этот долг был бы вам уплачен моей книгой? Это доставило бы мне большое удовольствие. Не говорите об этом ничего Сен-Феликсу».

<sup>52</sup> M a r s a n J., La bataille romantique, P., 1912, pp. 267—268.

<sup>53</sup> О Жюль де Рессегье см. прекрасный этюд A s s e Е., Les petits romantiques, P., 1900, pp. 121—203.

<sup>54</sup> S o m t e s s e D a s h, Mémoires des autres, P., 1896—1897, IV, pp. 215—224, и «Intermédiaire des chercheurs et curieux», t. 59, p. 729.

<sup>55</sup> «Русский Вестник», 1881, 5, т. CLIII, стр. 117: «Дюма признался, что и сам никогда не употребляет турецкого кальяна (наргиле), а любит только русский «окуковский» табак, к которому приучил его князь Элим Мещерский» (Воспоминания А. М. Каратыгиной).

<sup>56</sup> «Mémoires du vicomte Armand de Melun», цитир. изд., I, стр. 179—182.

<sup>57</sup> S o m t e s s e D a s h, Mémoires des autres, P., 1896—1897, IV, pp. 215—224 (вся глава XXI). См. также M a r s a n J., La bataille romantique, pp. 253—254.

<sup>58</sup> Mémoires des autres, IV, pp. 173—174.

<sup>59</sup> Elim, histoire d'un poète russe, par P a u l i n N i b o u e t, P., 1852, chez Michel Lévy, et Leipzig, chez Michelsen; avec une préface de la Comtesse Dash, pp. I—VI. Книга имела некоторый успех, так как через 7 лет появилось 2-е издание под новым заглавием: Les amours d'un poète, par P a u l i n N i b o u e t (Fortunio); P., 1859, Pagnerre, libraire-éditeur. Автор посвятил этот роман «Моему лучшему другу—моей матери».

<sup>60</sup> «Le Salon littéraire», 1-ère éd., 2-е année, no. 22 (jeudi 17 mars 1842), pp. 8—11; Sous les marronniers (suite), par M. M a u r i c e S t.-A g u e t. О творчестве Шарля Мориса см. B o u r q u e l o t et A l f r e d M a u r y, La littérature française contemporaine, t. V, P., 1854, p. 34.

<sup>61</sup> «Journal des Demoiselles», juillet, 1906, p. 245, статья, подписанная А. В.

<sup>62</sup> «Journal des Demoiselles», 15 juillet 1848.

<sup>63</sup> См. «La France littéraire», XI, pp. 319—320.

<sup>64</sup> В Национальной библиотеке в Париже хранится один экземпляр этого стихотворения. Оно помечено «Виши, 20 августа 1844 г.» и было напечатано в Париже «chez Crapetlet, 9, rue de Vaugirard». Оно интересно, главным образом, некоторыми биографическими данными, которые находятся вначале (см. выше стр. 7). Стихотворение воспроизведено также в «Les roses noires», pp. 287—298.

<sup>65</sup> M-me M a r t e l l e t (Adèle Colin), Alfred de Musset intime: souvenirs de la gouvernante, P., 1905, p. 374. Странная подпись этого стихотворения должна быть объяснена двойной печаткой: «княгиня» вместо князь и «1845» вместо 1835 или 1843 (?), если только княгиня Мещерская не сообщила этих стихов после смерти поэта, пометив сверху их: Элим. Княгиня Мещерская. Ницца, 11 ноября 1845.

<sup>66</sup> «La France littéraire», XI, p. 319.

<sup>67</sup> Предисловие к «Les Boréales», p. XIV.

<sup>68</sup> Ibid., p. XVI.

<sup>69</sup> Ibid., p. 31.

<sup>70</sup> «Ma bonne compagnie» — поэма Жюля де Рессегье.

<sup>71</sup> «Lazare», «Pianto» — поэмы Огюста Барбье.

<sup>72</sup> Антони — Антони Дешан.

<sup>73</sup> «Magie» — поэма Бризе.

<sup>74</sup> «Cynthia» — поэма Жюля де Сен-Феликса.

<sup>75</sup> «Le manteau et l'érée» (Шага и плащ) — сборник стихов Роже де Бовуара, появившийся в Париже в 1837 г.

<sup>76</sup> Блаз де Бюри (Blaze de Bury) — известный в эту эпоху, как автор комедии в стихах *Le souper du commandeur* (1834) и многих стихотворений, изданных отдельным сборником в 1842 г. Это будущий критик и историк «*Revue des deux Mondes*».

<sup>77</sup> Эдмонд Тюркети (Edmond Turquet) — автор *Esquisses poétiques*, 1829, см. F. Saulmier, *La vie d'un poète*, E. Turquet, P., 1885.

<sup>78</sup> Алкид дю Буа де Бошен (Alcide du Bois de Beauchesne) — поэт и ученый, которого князь Элим знал, как автора *Souvenirs poétiques*, P., 1830.

<sup>79</sup> Александр Гиро (Alexandre Guiraud) — автор *Manifeste de la Muse française* (январь 1824), *Elégies Savoyardes* (1823), *Poèmes et chants élégiaques* (1824), *Poésies dédiées à la jeunesse* (1836), а позднее и книги *La philosophie catholique de l'histoire* (1839—1841).

<sup>80</sup> «Les Boréales», pp. VI—VIII.

<sup>81</sup> Ibid., p. IX.

<sup>82</sup> Повидимому, князь Элим лелеял одно время оригинальный план — опубликовать в России свои французские переводы русских поэтов. Н. В. Кукольник отметил в 1836 г., по случаю приезда князя Элима в Петербург: «Мещерский приехал из Парижа и затевает в Петербурге «*Revue*» русских произведений для русских во французских переводах!! Очень кстати! Неужели он надеется, что в Европе будут читать его статьи? Нет, не надеется. Там, в России?.. Да! Наши вельможи не могут читать по-русски: не варит желудок». («Баян», 1888, 10, стр. 90; отрывок, воспроизведенный в «Остафьевском Архиве», III, стр. 715).

<sup>83</sup> Одно из главных произведений этого сборника было уже напечатано в 1843 г.: *Artémonn Matveief, tableau-scène, par le prince Elim Mestscherski, Cusset (près Vichy), 1843, in 4° sur 2 colonnes, imprimerie de M-me L. Jourdain*. «Уведомление» (*L'Avertissement*), помещенное рядом с титульным листом этой книжки, сообщает следующее: «Эта картина будет помещена во главе серии поэм-диалогов, задуманных в тех же размерах. Они составляют часть сборника стихов, который автор опубликует незамедлительно под заглавием: «Черные розы». В числе этих картин, подходящих для частных театров, появятся: «Светлана» — подражание балладе Жуковского, «Цыгане» — подражание поэме Александра Пушкина, «Фауст у колдуньи» — подражание Гёте, и пр. Вторая часть сборника содержит короткие стихи, могущие послужить канвой для композиторов». «Артамон Матвеев» был отмечен для русских читателей Н. Гречем в одном из его «Парижских писем»: см. «Северная Пчела», 1843, № 224 (7 октября), № 895, и в отдельном издании: Греч Н., Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии, изд. П. И. Мартынова, СПб. 1847, стр. 237—239.

<sup>84</sup> *Les roses noires*, pp. 417—421.

<sup>85</sup> *Nouvelle biographie générale de Hoefler*, P., 1852—1866, XXXIV, col. 646. «Князь Элим основал в Ницце, где долго жил, частный театр, доходы с которого, предназначенные целиком для благотворительных целей, предоставлялись в распоряжение сестер милосердия общины *Saint Vincent de Paul*». К «Фаусту у колдуньи» было приложено послание «К мадемуазель Е. А.», которая играла роль Маргариты. У меня сохранилась программа театрального вечера 27 марта 1843 г. в Ницце, с указанием пьес и актеров: кн. Элим играл роль «Колдуна» и «Фауста».

<sup>86</sup> «*Les roses noires*», pp. 9—47, 49—98, 185—195, 197—207, 209—217, 219—231, 265—285, 161—183, 233—263, 99—115, 117—159.

<sup>87</sup> Ibid., pp. 149—150. Нет необходимости настаивать на мелких неловкостях, выдающих подражателя. Е. Ассе отмечает, однако, не имея в виду специально эту исповедь Переца: «князь Мещерский так усвоил себе стиль Виктора Гюго, что многие критики были введены в заблуждение» (*Les petits romantiques*, P., 1900, p. 48).

<sup>88</sup> «*Les roses noires*», pp. 405—415: *Ma chimère, chanson*.

<sup>89</sup> «*Les Boréales*», pp. 247—254. Приведенные стихи являются вольным переводом заключительного четверостишия стихотворения Хомякова «Остров» (у Мещерского — «*L'Angleterre*»): «И другой стране смиренной...»

<sup>90</sup> «*Les poètes russes*», 1, p. II.

<sup>91</sup> Ibid., pp. IV—XXII.

<sup>92</sup> Ibid., pp. XXVIII—XXIX.

<sup>93</sup> «Revue de Marseille», fondée et publiée au profit des pauvres, II-e année 1, janvier 1856, p. 90. De l'histoire de la poésie. Discours prononcé à l'Athénée de Marseille pour l'ouverture du Cours de littérature, le 12 mars 1830, par M. J. J. Ampère, Marseille, 1830, typographie de Feissat aîné et Démonchy.

<sup>94</sup> Статья, цитированная «Литературной Газетой» (1830, № 64, стр. 225—227); тот же журнал (1831, № 6—7, стр. 47—49) напечатал разбор и критику лекции князя Элима.

<sup>95</sup> А т е н е й (l'Athénée) возник по коллективной инициативе марсельской интеллигенции; это учреждение ставило себе целью, по примеру Атеней парижского, восполнить недостаточность университетского преподавания. Его открытие должно было состояться еще в 1822 г., но министр внутренних дел, de Corbière, воспротивился этому: «Учреждение, о котором идет речь, — писал он 12 марта 1822 г. префекту, — могло бы, без сомнения, быть полезным, если бы профессорами были выбраны только лица, известные своими ясно выраженными монархическими убеждениями... Подробности, вами сообщаемые, доказывают, напротив, что вполне противоположное веяние определило, по большей части, сделанный выбор» (Archives départementales des Bouches du Rhône). После шестилетней паузы грамота министерства позволяла вновь заняться этим проектом, и в 1828 г. новый министр, de Martignac, разрешил его осуществление: «Весьма примечательно то обстоятельство, — и члены Атеней никогда его не забудут, — что основание этого полезного учреждения оказалось связанным с первым торжеством конституционной идеи на выборах в Марселе — заявил Elisée Reupard, секретарь Атеней, в своей речи 31 мая 1829 г. Кафедра литературы была предложена Сен-Бёву, который отказался от нее в прелестном письме: «...В момент политической неустойчивости, когда бывают поколеблены даже самые скромные жизни, когда существование марсельского Атеней, разрешенное г. де Мартиньяком, может быть поставлено под вопрос г. де Лебурдонне, когда сам я здесь испытываю желание и потребность видеть и наблюдать вблизи и положить и свою песчинку на правильную чашку весов, — я не чувствую себя в силах покинуть Париж, чтобы вести мирный курс литературы». Минье рекомендовал тогда Ампера-сына, который согласился читать трехмесячный курс с марта 1830 г., по две лекции в неделю, с гонораром в 3 000 франков. Князь Элим, прослушав курс Ампера, вероятно, предложил, по собственной инициативе, дать публике дополнительную лекцию о русской литературе, и Атеней поспешил принять это предложение. Но это происходило в конце июня, в разгар лета, — и лекция прошла незамеченной; повидимому, Ампер не присутствовал на ней, и даже историк Атеней, F. Tamisier, не сохранил о ней никакого воспоминания. Не лишено пикантности, что князь Элим, принадлежавший по своим дружеским связям к легитимистским кругам, забрел по ошибке в этот очаг либерализма как раз накануне июльской революции. Именно в Атенее, обратившемся тогда в своего рода политический центр, происходили выборы 1830 г. С 1831 по 1844 г. лекции продолжались, но, начиная с 1844 г., Атеней становится не более, как кружком, владеющим богатой библиотекой. В 1886 г. кружок этот был распущен, а книги включены в городскую библиотеку Марселя. (Règlement de l'Athénée de Marseille, autorisé par ordonnance royale du 7 décembre 1828, Marseille, 1829; Règlement d'ordre intérieur de l'Athénée de Marseille, Marseille, 1829; «Revue de Marseille», II-e année 1, janvier 1856, pp. 79—102 et 140—144, aperçu historique par F. Tamisier; «Les noces d'or de l'Athénée», Marseille, 1879; «Les Bouches du Rhône», encyclopédie départementale, t. VI, La vie intellectuelle, Marseille, 1914, p. 367). Я должен выразить здесь живейшую признательность г. U. Busquet, директору Archives départementales des Bouches du Rhône, который оказал мне драгоценную помощь в моих разысканиях.

<sup>96</sup> «Les poètes russes», 1 passim, pp. XLVII—XLVIII и LXXV.

<sup>97</sup> «Les poètes russes», 1, pp. LXXVI—LXXVII.

<sup>98</sup> «Les poètes russes», 1, pp. XXXII—XXXIII.

<sup>99</sup> «Les poètes russes», 1, pp. 217—225.

<sup>100</sup> «Les poètes russes», 1, pp. 353—355.

<sup>101</sup> О князе Элиме, как переводчике Лермонтова, см. «Русская Старина», 1882, т. XXXIV, стр. 228—235.

<sup>102</sup> Старый князь Петр Мещерский, переживший своего сына, 21 августа 1846 г. поднес императорской фамилии два тома *Les poètes russes*. Одна папка в архиве министерства народного просвещения сохранила для нас описание церемонии, сопровождавшего это поднесение, согласно правилам придворного этикета (ЛЮЦИА, фонд канц. м.р. нар. просв., 1846, д. № 129879, кар. 6228).

<sup>103</sup> Статья Hippolyte Babou напечатана в «Revue nouvelle», III-e année, 1847, t. 13, pp. 284—294; статья А. Башуцкого в «Иллюстрации», 1847, т. V, № 27 (26 июля), стр. 42—44; см. также «Северная Пчела», 1847, 38 (18 февраля), стр. 150—151.

<sup>104</sup> Gallet de Kulture, A. ch., La Sainte Russie, P., 2-e éd. 1857; Garnier frères. Первое издание появилось в 1855 г. под заглавием «Le tzar Nicolas et la sainte Russie». Автор был личным секретарем князя Демидова.

<sup>105</sup> «Les poètes russes», I, p. LXXX.

<sup>106</sup> «Revue européenne, par les rédacteurs du Correspondant», P., 1831, t. 1, fasc. 1, p. 16.

<sup>107</sup> Ibid., fasc. 2, pp. 233—234.

<sup>108</sup> Ibid., fasc. 2, p. 236.

<sup>109</sup> Ibid., fasc. 5, pp. 205—206.

<sup>110</sup> «Русский Архив», 1868, т. VI, стр. 621—622.

<sup>111</sup> «Старина и Новизна», II, стр. 167.

<sup>112</sup> «Русский Архив», 1908, т. I, стр. 25—47, и статья Е. Гаршина в «Историческом Вестнике», 1883, 7, т. XIII, стр. 164—173.

<sup>113</sup> Allemagne et Pays-Bas, Landscape français, P., s. d. (librairie Janet), pp. 143—155, особенно стр. 146—149 и 151. Эта статья была переведена на русский язык в «Библиотеке для Чтения»; позднее, уже после смерти князя, она появилась в новом переводе, в «Северной Пчеле», 1846, № 273 (3 декабря), стр. 1091—1092.

<sup>114</sup> Доктор Пьер-Этьен Мартен, именуемый Martin jeune или Martin cadet; родился в 1772 г., главный хирург лионской богадельни.

<sup>115</sup> «Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпой по Невскому проспекту» входила в сборник «Пестрые сказки» (СПб. 1833) и была перепечатана в сочинениях князя В. Ф. Одоевского, ч. III, изд. книгопродавца Иванова, СПб. 1844, стр. 195—207.

<sup>116</sup> Письма разных лиц к В. Ф. Одоевскому. Отчет Публичной библиотеки за 1869 г., СПб. 1870, стр. 9.

<sup>117</sup> По всей вероятности, речь идет о корреспонденте для «Журнала Министерства Внутренних Дел»; в вопросах организации этого журнала князь Одоевский был заинтересован, как член-сотрудник комитета редакции с 1838 г., см. «Русский биографический словарь», статья Ив. Кубасова, стр. 125.

<sup>118</sup> По всей вероятности, в «Журнале Министерства Внутренних Дел». В Париже я не мог отыскать тот отзыв, на который намекает князь Элим.

<sup>119</sup> По всей вероятности, «Энциклопедический лексикон» Плюшара, одним из сотрудников которого был князь Одоевский.

<sup>120</sup> Письма разных лиц к В. Ф. Одоевскому. «Отчет Публичной библиотеки за 1869 г.», СПб. 1870, стр. 9.

<sup>121</sup> См. работу E. V a u d i n, откуда заимствовано приводимое здесь определение «страсбургской философии», «Revue des sciences religieuses», 1922. E. Vaudin нашел в Collège de Juilly переписку между князем Элимом и Ботэном и опубликовал ее.

<sup>122</sup> Вероятно, намек на Шеллинга, Бадера и Делингера. Повидимому, личные отношения у князя Элима были только с Бадером.

<sup>123</sup> Эта работа, оставшаяся в рукописи,—та самая, которую он показывал Бадеру и которую покажет также Уварову, своему отцу и А. А. Краевскому (см. стр. 456).

<sup>124</sup> Дата 1833, проставленная Э. Боденом, должна быть исправлена на 1834.

<sup>125</sup> Эта дама из высшего эльзасского общества была преданным другом Ботэна и поддерживала его в его полемике.

<sup>126</sup> Это, вероятно, следующие, уже изданные Ботэном к тому моменту брошюры: Variétés philosophiques, Strasbourg, 1823; Propositions générales sur la vie, Strasbourg, 1826 (теза докторской диссертации по медицине); La morale de l'Évangile comparée à la morale des philosophes, Strasbourg, 1827; Motifs de conversion de plusieurs juifs et de plusieurs protestants, Strasbourg, 1830; De l'enseignement de la philosophie en France au XIX-e siècle, Strasbourg, 1833 (Манифест страсбургской школы); Quelques réflexions sur l'institution des conférences religieuses à Paris, P., 1834. Что до брошюры, о которой речь идет дальше, то здесь имеется в виду Réponse d'un chrétien aux Paroles d'un croyant. Это, бесспорно, самое сильное возражение, какое встретил Ламене, и одно из лучших полемических и критических произведений, вышедших из под пера Ботэна (примечание Э. Бодена).

<sup>127</sup> Ботэн официально объявил об этом в своей брошюре De l'enseignement de la philosophie en France au XIX-e siècle. Его труд должен был появиться под видом руководства по философии; он его уже заканчивал (примечание Э. Бодена). Это выражение было затем использовано князем Элимом.

<sup>128</sup> Как мы увидим, это выражение будет повторено князем Элимом (см. стр. 469).

<sup>129</sup> В «Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1834 г.

<sup>130</sup> Все дальнейшее изложение о необходимости власти и авторитета для сохранения и истолкования веры существенно для мысли Ботэна, который часто возвращался к этой теме, что не избавило его, однако, от постоянных обвинений в протестантизме.

Ньюман; с которым он во многих отношениях близок, беспрестанно высказывал те же оговорки и встречал те же обвинения (примечание Э. Бодена).

<sup>131</sup> Впоследствии епископ Каркассона и кардинал-архиепископ руанский. Ученик Ботэна; в то время — профессор реторики в маленькой семинарии Saint-Louis в Страсбурге (примечание Э. Бодена).

<sup>132</sup> Э. Боден, цитированная статья, стр. 25.

<sup>133</sup> В связи с этим заслуживает внимания указание Геннади, согласно которому, некий «князь Мещерский» (не Элим ли?) сделал оставшийся в рукописи французский перевод «Истории русской церкви» А. Н. Муравьева («Русский Архив», 1877, II, стр. 86).

<sup>134</sup> Э. Боден, цитированная статья, стр. 6—7.

<sup>135</sup> Notice sur M. le Vicomte de Bonald, dédiée à M. le Comte de Marcellus, par M. Henri de B[onald], P., 1841, pp. 93—95: письмо без всякой даты, кроме как «1834» (напечатано по ошибке «1824»).

<sup>136</sup> Дело идет, по всей вероятности, о юношеском опыте, который князь Элим представлял Бадеру и Ботэну.

<sup>137</sup> Цитированное сочинение, стр. 96.

<sup>138</sup> «Журнал Министерства Народного Просвещения», 1847, ч. 56, отд. VI, стр. 261; заметка в конце некролога, заимствованного из журнала «Иллюстрация», 1847, 27 (26 июля), т. V, стр. 42.

<sup>139</sup> ЛОЦИА. Дело канцелярии министра народного просвещения «по всеподданнейшей докладной записке г. министра народного просвещения о собрании книг и рукописей, относящихся до тайных обществ» (№ 127965, карт. 6187, 1834 г., на 26 лл.). Дело содержит в себе записку Лоранти с описанием коллекции, всеподданнейший доклад Уварова с резолюцией Николая I, письмо Элима Мещерского об отправке коллекции в Россию с приложением ее подробного описания, составленного бывшим владельцем Астье, переписку о получении коллекции и о передаче ее на хранение в Публичную библиотеку в Петербурге.

<sup>140</sup> Архив Института литературы Академии наук СССР. Собрание Б. Л. Модзалевского.

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Было бы точнее сказать: несколько недель.

<sup>143</sup> Перевод не подписан, но мы знаем из другого источника, что он принадлежит князю Элиму (см. об этом стр. 385, а также «Биографический словарь профессоров и преподавателей импер. московского университета», ч. II, М., 1855, стр. 244—245). Эта вступительная лекция Погодина напечатана в 1-м выпуске «Журнала Министерства Народного Просвещения»; она была переведена также на немецкий язык лектором Герингом и на сербский епископом Атанасевичем.

<sup>144</sup> «Le panorama littéraire de l'Europe» в том же 1834 г. (т. II, pp. 106—113) дает нам также описание кавказского праздника: Schah Hussein: fête des Musulmans Schaghides; но это описание подписано: «Trad. du russe BastanJeff par M. Deslandes» и, хотя такое предположение и высказывалось, нет никаких оснований приписывать перевод князю Элиму.

<sup>145</sup> «Les Boréales», pp. 23—24.

<sup>146</sup> «Les Boréales», p. 35, passim.

<sup>147</sup> «Les Boréales», p. 27.

<sup>148</sup> «Les Boréales», pp. IV—V.

<sup>149</sup> «Les roses noires», p. 409.

<sup>150</sup> «Русская Старина», 1881, 6, т. XXXI, стр. 202—203.

<sup>151</sup> Архив министерства народного просвещения; дела канцелярии министра, карт. 35, №№ 897, 127, 937, 698.

<sup>152</sup> Я не мог, к сожалению, найти писем, на которые намекает здесь князь Элим. Сочинение, представленное им Уварову, — это рукопись, которую он уже представлял Бадеру и Ботэну.

<sup>153</sup> Мы находим именно в этом письме (стр. 119) следующую характерную оговорку: «На сей раз прошу ваше превосходительство обратить внимание на ту дробную часть периодических изданий, которая более привлекает в свою пользу: я говорю о журналах, защищающих истинные учения политические и религиозные. Оставляю до другого раза исследование противоположной сферы, где анархия идей и разнообразие правил требуют продолжительного времени и разысканий, чтобы уловить и заметить все оттенки сего умственного хаоса». Нам неизвестно, чтобы князь Элим сделал впоследствии хотя бы малейшую попытку ориентироваться в том, что он называет «умственным хаосом» либеральной прессы.

<sup>154</sup> Этот труд упомянут в одном из вышеприведенных писем к Уварову: см. выше, стр. 447.

<sup>155</sup> Публикуемые ниже письма князя Элима и А. А. Краевского сохранились в обширном архиве последнего, находящемся в Публичной библиотеке Ленинграда. Все письма, за исключением первого и последнего писем князя Элима, написаны по-русски.

<sup>156</sup> «Журнал Министерства Народного Просвещения», 1834, март, стр. 317—377; апрель, стр. 78—92; июнь, стр. 444—483.

<sup>157</sup> На обложке *Lettres d'un russe* (Nice, 1832) мы читаем подзаголовок: *De la foi dans la science, aperçu de la réaction philosophique qui se manifeste en Europe en faveur du Christianisme.* (Это—заглавие той самой работы, оставшейся в рукописи, которую князь Элим показывал многим лицам).

<sup>158</sup> Князь Элим узнал, без сомнения, что николаевская цензура не пощадила «Литературной Панорамы», как об этом свидетельствует дело цензурного комитета о запрещении распространения в России 6 и 7 выпусков тома III этого обозрения (июнь—июль 1834), в которых был напечатан перевод первой части трилогии Циммермана «Alexis» (Петербургский комитет цензуры иностранной; рапорты за 1834 г.).

<sup>159</sup> Из письма князя Элима к аббату Ботэну от 1 сентября 1834 г. мы узнаем, что эти слова взяты из письма Уварова к князю.

<sup>160</sup> *M o l i t o r* (Franz-Joseph), *Philosophie de la tradition, traduit de l'allemand par Xavier Quris, P., 1834* (Gaume frères et Dondet-Dupré).

<sup>161</sup> Это тот адрес, который князь Элим в одном из предыдущих писем к Краевскому указал, как свой собственный.

<sup>162</sup> Архив министерства народного просвещения. Дело канцелярии министра, карт. № 37, д. № 978а, №№ 805, 128, 018.

<sup>163</sup> Архив революции (Москва). Дело первой экспедиции III отделения № 68—1835 г. «О предположении издавать в Париже новый журнал», на 6 л.

<sup>164</sup> В письме Бенкендорфа Уварову от 4 января 1843 г. пред нами предстает смешное зрелище: глава русской полиции ополчается на защиту национальной щепетильности французов и—еще того лучше!—выступает в качестве литературного критика, свысока осуждающего стихотворные переводы князя Элима.

«...4 января 1843 года граф Бенкендорф писал Уварову по поводу стихотворения Лермонтова «Последнее новоселие», переведенного на французский язык и имеющего появиться (по словам Отечественных Записок) в непродолжительном времени в книге «Morceaux choisis de la poésie russe, traduits par N. N.»\*, что считает неприличным издание подобной пьесы и не соответственно отношениям нашим к иностранным державам. Сильные выпады подлинника против Франции усилены переводчиком до неприличной брани. При свободе книгопечатания во Франции русское правительство не может оскорбляться частыми неприязненными отзывами французских писателей, но всякие выпады русских сочинителей против иностранных держав рассматриваются цензурой и тем уже принимают некоторым образом официальный характер. Кроме того, переводы г. М. обличают переводчика в совершенном незнании французского языка и французского стихосложения \*\*, а потому если г. М. имеет в виду ознакомить Францию с нашей отечественной литературой, то не только не достигает предположенной цели, но даже наносит явный вред, искажая известнейших наших сочинителей. Уваров предписал Петербургскому и Московскому цензурным комитетам принять мнение гр. Бенкендорфа в руководство и соображение на будущие времена. («Русская Старина», 1903, кн. 5, стр. 389—390).

<sup>165</sup> *Le Duc de Broglie, Le secret du roi, 1, P., 1878, pp. 270—271.*

<sup>166</sup> Мы обязаны любезности г. Georges Doublet, весьма осведомленного специалиста по истории Ниццы, этими точными справками, заимствованными из департаментских архивов Приморских Альп. Письмо князя Элима, на которое имеется указание, к сожалению, не сохранилось. *Châteaugiron* в одном документе, касающемся другого дела, называет Рудольфа де Местра «антитагальским губернатором».

<sup>167</sup> «*Le Charivari*», 8-e année, 70 (lundi, 11 mars 1839), p. 2—анонимный отзыв о «Бореалиях». Критик относится к поэту не менее сурово, чем к политическому деятелю. «Посмертные стихотворения, озаглавленные «Книга любви», образуют первую часть сборника и свидетельствуют прежде всего о таланте гг. Эмиля Дешана, Альфреда де Мюссе, Эдуарда Тюркети, Жюля де Сен-Феликса, Рессегье, Гиро, Бризе, Бошена и других поэтов, с которыми автор жил в тесной дружбе во время своего пребывания в Париже. Но таким друзьям, составляющим прелесть жизни, не дано ни обеспечить

\* Как известно, в «Последнем новоселии» говорится о перенесении тела Наполеона I в 1840 г. с острова св. Елены в Париж. Перевод был сделан князем Мещерским. [Примеч. «Рус. Ст.»].

\*\* Против этого места граф Уваров сделал на отношении гр. Бенкендорфа отметку карандашом: «весьма справедливо». В «Отечеств. Записках» было сказано (Белинским), что переводчик владеет значительным талантом для этого рода труда. [Примеч. «Рус. Ст.»].

мертвым длительную память, ни обезоружить непреклонную критику. Впрочем, мы готовы признать, что под тяжелой, шероховатой и поистине запущенной, как борода мужика, формой в «Книге любви» чувствуется известная энергия, которая с годами, возможно, превратилась бы в талант».

<sup>168</sup> «L'Artiste: revue de Paris, Beaux Arts et Belles Lettres», 1845 (IV-e série, t. 4), fasc. du 8 juin 1845, pp. 95—96.